

ГИБЕЛЬ ЗАПАДА: К истории одного стойкого верования

Россия по своему положению, географич.<ескому>, политич.<ескому> etc., есть судилище, приказ Европы. — *Nous sommes les grands joueurs*. Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны...

А. С. Пушкин

Как всем известно, русская культура изобилует всевозможными эсхатологическими пророчествами и предсказаниями, апокалиптическими проекциями, плачами о гибели мира или Земли Русской, и т. п. В этом непрерывно пополняемом эсхатологическом дискурсе выделяется немалая группа текстов, которые — вопреки основному апокалиптическому канону — возвещают скорый, неминуемый конец не всемирной истории и не своему народу или государству, а чужой культуре — возвещают гибель Запада. Вот уже на протяжении почти двух веков многие русские интеллигенты, которым, говоря словами обращенной к ним инвективы В. Брюсова (1919), всегда «были любы трагизм и гибель / Иль ужас нового потопа», гадают, «в огне ль, на дыбе ль / Погибнет старая Европа»¹. Кто только не пророчил европейскому миру неминуемую, скорую, страшную гибель! Назову лишь самые громкие имена XIX — начала XX века: Иван Киреевский, Хомяков, Лермонтов, Шевырев, Тютчев, Одоевский, Достоевский, Данилевский, Герцен, Леонтьев, Розанов, Мережковский, Брюсов, Андрей Белый, Блок. Понятно, что все эти поэтические прорицания, публицистические иеремиады и псевдонаучные прогнозы были производными от исходного противопоставления России Западу как враждебных друг другу историко-культурных «организмов» — от пресуппозиции, где «своему» приписывались положительные, а «чужому» отрицательные признаки. Дряхлый, больной, загнивающий, материалистический, безбожный, буржуазно-индивидуалистический Запад должен погибнуть, чтобы освободить место для России — молодого, здорового, расцветающего, одухотворенного и сплоченного глубокой христианской верой народа, которому суждено великое историческое будущее.

¹ Брюсов В. Стихотворения и поэмы / Вступительная статья и составление Д. Е. Максимова. Л., 1961. С. 433.

Впервые мысль о том, что историческая судьба Западной Европы близка к завершению, была высказана молодым Иваном Киреевским в «Обзрении русской словесности 1829 года». «Англия и Германия, — писал он, — находятся теперь на вершине европейского просвещения; но влияние их не может быть живительное, ибо их внутренняя жизнь уже окончила свое развитие, состарелась и получила ту односторонность зрелости, которая делает их образованность исключительно им одним приличною. Вот отчего Европа представляет теперь вид какого-то оцепенения; политическое и нравственное усовершенствования равно остановились в ней; запоздалые мнения, обветшалые формы, как запруженная река, плодоносную страну превратили в болота, где цветут одни незабудки да изредка блестит холодный, блуждающий огонек»². Историко-культурная концепция Киреевского, как показал Александр Койре, основывалась на убеждении, что Европа достигла совершенства, и это совершенство «есть завершение. <...> Затем может последовать только стагнация, предшествующая упадку и неизбежному загниванию, — эти явления присущи всему живому. Чтобы продвинуться далее, нужны новые силы, требуется молодой организм. Но во всем мире лишь Россия способна нести знамя цивилизации, выпадающее из ослабевших рук западных народов; сюда сместится центр, живое сердце, которое даст ей новую кровь и вдохнет новую жизнь. По отношению к Западу Россия является наследницей, на которой сходятся все надежды семейства. Она получит все богатства, накопленные веками труда, весь опыт своих предков»³.

Вслед за Киреевским в 1833–1835 гг. похожую концепцию разрабатывает В. Ф. Одоевский в очерке, который впоследствии составит эпилог «Русских ночей». На «старом Западе», констатирует он, вырождаются наука, искусство и религиозное чувство, что свидетельствует о неминуемом конце европейской цивилизации:

«Погибают три главные деятели общественной жизни! Осмелимся же выговорить слово, которое, может быть, теперь многим покажется странным и через несколько времени — слишком простым: Запад гибнет!

Так! он гибнет! Пока он собирает свои мелочные сокровища, пока предается своему отчаянию — время бежит, а у времени есть собственная жизнь, отличная от жизни народов; оно бежит, скоро обгонит старую, одряхлевшую Европу — и, может быть, покроет ее теми же слоями недвижимого пепла, которыми покрыты огромные здания народов древней Америки — народов без имени»⁴.

² Киреевский И. В. Эстетика, философия, критика. М., 1983. С. 78.

³ Койре А. Философия и национальная проблема в России начала XIX века. М., 2003. С. 221–222.

⁴ Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 147.

Как и Киреевский, Одоевский убежден, что сама высокая степень развития техники, промышленности, образования, политических институтов на современном Западе уже является «признаком падения, гибели», ибо «высшее развитие сил какого бы то ни было организма есть *начало его конца*»⁵. Спасти (излечить) одряхлевший Запад, по его мысли, может только вливание свежей, молодой крови, которую способен предоставить единственный донор — Россия:

«Мы поставлены на рубеже двух миров: протекшего и будущего; мы новы и свежи; мы непричастны преступлениям старой Европы; пред нами разыгрывается ее странная, таинственная драма, которой разгадка, может быть, таится в глубине русского духа; мы — только свидетели; мы равнодушны, ибо уже привыкли к этому странному зрелищу; мы беспристрастны, ибо часто можем предугадать развязку, ибо часто узнаем пародию вместе с трагедией... Нет, недаром провидение водит нас на эти сатурналии, как некогда спартанцы водили своих юношей смотреть на опьянелых варваров!»⁶

В статье С. Шевырева «Словесность и торговля», открывавшей первый же номер «Московского наблюдателя», говорилось, что «старость Европы» сделалась «пословицею всего образованного мира» и что современный европейский роман есть «выразитель эпохи престарелой» и потому имеет «лицо неприятное, эти неизбежные морщины и желтый цвет старости, лицо или запечатленное холодным отчаянием и безверием, или обезображенное судорогами испорченных нервов»⁷.

В 1836 г. В. П. Титов обращается к В. Ф. Одоевскому с письмом, в котором призывает соотечественников разорвать с «дряхлым стариком» Западом и вернуться к «самим себе и к Востоку»⁸.

Примерно в то же время противопоставление смертельно больной Европы здоровой, полной сил, молодой России начинает появляться и в официальной, «уваровской» пропаганде. Сам С. С. Уваров в письме Николаю I (1832), где была впервые сформулирована знаменитая триада «православие-самодержавие-народность», вскользь заметил, что современная западная цивилизация содержит в себе «зародыш собственного уничтожения» (*le germe de sa destruction*) и находится в упадке (*dégradation*)⁹. Развивая мысли своего непосредственно

⁵ Там же. С. 150.

⁶ Там же. С. 148.

⁷ Шевырев С. Словесность и торговля // Московский Наблюдатель, журнал энциклопедический. Кн. 1. Часть I. Март. М., 1835. С. 14, 15.

⁸ См.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Кн. 1. Ч. 1. М., 1913. С. 336–337.

⁹ Цит. по: Зорин А. Идеология «православия — самодержавия — народности»: Опыт реконструкции (Неизвестный автограф меморандума

го начальника, профессор философии Петербургского университета А. А. Фишер в программной речи «О ходе образования в России и об участии, какое должна принимать в нем философия» призывал поставить заслон лже-образованию, «которое, подобно, нравственной язве, заражает и повреждает более и более общественное тело дряхлеющей Европы»¹⁰.

Из публицистики идея гибели Запада быстро перетекает в поэзию, где обретает символическую образность. Сначала А. Хомяков публикует в «Московском наблюдателе» знаменитую «Мечту» (1835) — своего рода некролог европейской культуры:

О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес:
Светила прежние бледнеют, догорая,
И звезды лучшие срываются с небес.
А как прекрасен был тот Запад величавый!
Как долго целый мир, колена преклонив
И чудно озарен его высокой славой,
Пред ним безмолвствовал, смирен и молчалив.
Там солнце мудрости встречали наши очи,
Кометы бурных сеч бродили в высоте,
И тихо, как луна, царица летней ночи,
Сияла там любовь в невинной красоте.
Там в ярких радугах сливались вдохновенья,
И веры огонь живой потоки света лил!..
О! никогда земля от первых дней творенья
Не зрела над собой столь пламенных светил!
Но горе! век прошел, и мертвенным покровом
Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок...
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сиянье новом,
Проснись, дремлющий Восток!¹¹

Хомяков, кажется, первым соединил пророчество (или, точнее, мечту) о гибели европейской цивилизации и расцвете «Востока» с астрономической и световой символикой, обыграв географическую локализацию двух противостоящих друг другу культур — восточной и западной, новой и старой — по странам света, где, соответственно, восходит и заходит солнце, и создав образ «заката Европы»,

С. С. Уварова Николаю I // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 92, 93.

¹⁰ Журнал Министерства народного просвещения. 1835. Ч. 5. С. 31. Подробнее об этой речи см.: Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 273–280.

¹¹ Хомяков А. С. Стихотворения и драмы / Вступительная статья, подготовка текста и примеч. Б. Ф. Егорова. Л., 1969. С. 103.

который потом станет общепотребительным топосом (напомним, что само слово «закат» означает и заход солнца, и запад). Подобно Киреевскому и Одоевскому, он противопоставляет блистательное прошлое западной науки, искусства и религиозного чувства современному и будущему их состоянию, которое осмысливается как угасание, умирание, наступление мрака. На смену «европейской ночи» должен прийти новый день — «свет с Востока», то есть из России, которой, по Хомякову, Провидение предназначило стать центром новой, высшей культуры:

И другой стране смиренной,
Полной веры и чудес,
Бог отдаст судьбу вселенной,
Гром земли и глас небес.¹²

В 1836 году смерть Западу предрек и юный Лермонтов во второй (долгое время остававшейся ненапечатанной) части «Умиряющего гладиатора», где конец европейской культуры, пораженной «язвой просвещения» и потерявшей веру, уподобляется не закату солнца, а гибели бойца на арене:

¹² Там же. С. 107. Именно с Хомякова начинается история приспособления к России (и, шире, ко всему славянскому миру), латинского изречения «*Ex Oriente lux*», которое традиционно относили к восточной мудрости, к Палестине как родине Христа и христианства, к древней Греции и т. п. Ср. аналогичную формулу в хомяковском стихотворении «Еще о нем»: «...не утро ль с Востока встает?» (Там же. С. 120) и в «Возврате» К. С. Аксакова: «Смотрите — мрак уж робко убегает, / На Западе земли лишь он растет; / Восток горит, день не далек светает, / И скоро солнце красное взойдет» (Цит. по: Ранние славянофилы. А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и И. С. Аксаковы / Сост. Н. А. Бродский. М., 1910. С. 173). Сходную солярную символику нередко использовал Достоевский в публицистике. Ср., например: «...на Востоке действительно загорелась и засияла небывалым и неслыханным еще светом третья мировая идея — идея славянская, идея нарождающаяся, — может быть, третья грядущая возможность разрешения судеб человеческих и Европы. <...> Солнце показалось на Востоке, и для человечества с Востока начинается новый день. Когда просияет солнце совсем, тогда и поймут, что такое настоящие “интересы цивилизации”» (*Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972–1990. Т. 25. С. 9, 51). Если для Достоевского, как и для Хомякова и Аксакова, восходящее солнце России есть солнце «Христовой правды», то в знаменитом стихотворении Вл. Соловьева «*Ex Oriente lux*» вопрос о том, каким Востоком хочет стать Россия — «Востоком Ксеркса или Христа?» — оставлен открытым (*Соловьев Владимир.* Стихотворения и шуточные пьесы / Вступ. статья, составление и примеч. З. Г. Минц. Л., 1974. С. 81).

Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою,
Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд — игралище детей,
Осмеянный ликующей толпою!

И пред кончиною ты взоры обратил
С глубоким вздохом сожаленья
На юность светлую, исполненную сил,
Которую давно для язвы просвещенья,
Для гордой роскоши беспечно ты забыл:
Стараясь заглушить последние страданья,
Ты жадно слушаешь и песни старины,
И рыцарских времен волшебные преданья —
Насмешливых льстецов несбыточные сны.¹³

Эта вариация на тему «гибели Запада», которая явно переключалась с «реакционными» идеями Одоевского или Хомякова, явно противоречила принятой в СССР концепции Лермонтова как «революционного романтика», что заставило советских комментаторов и исследователей стихотворения изворачиваться в поисках других, «прогрессивных» параллелей к концовке «Умиряющего гладиатора». Поскольку его первая часть представляет собой переложение двух стрóf четвертой песни «Паломничества Чайльд Гарольда», то Б. М. Эйхенбаум попробовал связать с поэмой Байрона и лермонтовскую эсхатологическую картину умирающего на арене истории «европейского мира». «Вся IV песнь “Чайльд-Гарольда” написана на тему непрочности культуры и построена на контрастах величия и разрушения, — комментировал он. — Стихи Лермонтова звучат как резюме Байроновских размышлений, но с важными и характерными дополнениями и деталями»¹⁴. М. Нольман в статье «Лермонтов и Байрон» принял эту точку зрения, указав, что в 94-строфе 4-й песни «Чайльд Гарольда», где речь идет о ходе мировой истории, есть сравнение человечества с гладиаторами¹⁵:

And thus they plod in sluggish misery,
Rotting from sire to son, and age to age,

¹³ Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 6 т. Т. 2. Стихотворения 1832–1941. М.; Л., 1954. С. 76.

¹⁴ См. комментарии Б. М. Эйхенбаума к «Умиряющему гладиатору» в издании: Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений: В 5 т. М.; Л., 1936. Т. II. С. 164.

¹⁵ Нольман М. Лермонтов и Байрон // Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. М., 1941. С. 502–503.

Proud of their trampled nature, and so die,
Bequeathing their hereditary rage
To the new race of inborn slaves, who wage
War for their chains, and rather than be free,
Bleed gladiator-like, and still engage
Within the same Arena where they see
Their fellows fall before, like leaves of the same tree¹⁶.

[И вот так они бредут в вялой тоске,
И гниют от отца к сыну, от века к веку,
Гордые своей растоптанной природой, и так умирают,
Оставляя свой гнев в наследство
Новой расе врожденных рабов, которые воюют
За свои оковы и вместо того, чтобы добыть свободу,
Проливают кровь, как гладиаторы, и продолжают биться
На той же Арене, где перед ними
Раньше падали их собратья, подобно листьям
с одного и того же дерева.]

Разумеется, уподобление мировой истории боям гладиаторов могло подсказать Лермонтову общий план развернутого сравнения, но «Умиравший гладиатор» отнюдь не резюмирует пессимистические размышления Байрона о неизменной порочности человеческой природы и отсутствии прогресса в нравственной сфере, а предлагает чуждую Байрону органицистскую концепцию стадийного развития «европейского мира», который, пережив «юность светлую, исполненную сил» пошел по ложному пути, предался «язве просвещения и гордой роскоши», потерял веру в «борьбе сомнений и страстей», состарился, обессилел и потому обречен на скорую гибель. Понимая, видимо, что эта историческая модель совсем не похожа на метаисторическую мизантропию Байрона, Эйхенбаум в примечаниях к стихотворению в собрании сочинений 1936 г. добавил, что, кроме «Чайльда Гарольда», на Лермонтова повлияли и «некоторые славянофилы», чьи суждения о разложении «европейского мира» он повторил.

Даже осторожное сближение Лермонтова со славянофильскими воззрениями вызвало возражения у Л. Я. Гинзбург. Она признала, что заключительная часть «Умиравшего гладиатора» несколько напоминает «Мечту» Хомякова, которая, по ее предположению, могла послужить толчком для Лермонтова¹⁷. Однако, по Гинзбург, внешнее

¹⁶ Byron G. G. The Works. London, 1898–1904. Vol. II. P. 399–400.

¹⁷ Косвенные доказательства в пользу этого предположения представил впоследствии В. Э. Вацуро, показавший, что стих в первой части «Умиравшего гладиатора»: «И молит жалости напрасно мутный взор» восходит не к Байрону, а к русскому переводу главы из романа Э. Бульвер-Литтона

тематическое сходство лишь подчеркивает принципиальные различия, так как основная мысль Лермонтова здесь противоположна мысли Хомякова. Если Хомяков, пишет она, «готов преклониться перед Западом как источником христианской культуры», то «Лермонтов видит на Западе источник освободительных идей, рожденных Французской революцией; ибо иначе невозможно истолковать строки

Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир...

Для Хомякова “мрак”, окутывающий современный Запад, — это мрак безверия, скептицизма надвигающегося «промышленного века», словом, “мрак” капиталистической эры. Для Лермонтова, как и для Байрона, это мрак мировой реакции, толкающей романтизм к мистике и средневековью <...>, а это мысль *прямо антиславянофильская*. Что же касается мотива «язвы просвещения», то, согласно Гинзбург, для своего обоснования он «вовсе не нуждается в идеях славянофилов и может быть целиком выведен из того оппозиционного, прошедшего через байронизм, руссоизма, который давно уже бытовал в русской литературе»¹⁸.

Стремясь записать Лермонтова в «революционные романтики» и противопоставить его Хомякову, Гинзбург явно передергивает карты. Думаю, она прекрасно понимала, что в словах Лермонтова о том, что «европейский мир» в прошлом был кумиром «пламенных мечтателей», нет никакого намека на французских революционеров, которые отнюдь не поклонялись старой европейской цивилизации, а наоборот, стремились ее разрушить. По сути дела, Лермонтов концептивно передает здесь мысль Хомякова о былом величии Запада, озарявшем остальной мир своими «пламенными светилами» (ср. «пламенные мечтатели») и бывшим для других народов, из него исключенных (прежде всего для России) предметом поклонения,

«Последние дни Помпеи», напечатанному в 1835 г. в журнале «Московский наблюдатель»: «Побежденный гладиатор медленно провел по всему амфитеатру мутные, исполненные тоски и отчаяния глаза. Увы... ни в одном из взоров, на него устремленных, не видал он и следов жалости и милосердия». Из этого следует, что Лермонтов в 1835–1836 гг. читал «Московский наблюдатель», в первом номере которого и была опубликована «Мечта» Хомякова, и, как осторожно пишет Вацуро, именно это чтение могло поддержать у него идею старения европейского мира. См.: Вацуро В. Э., Мотовилов Н. Н. «Умирающий гладиатор» // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 590.

¹⁸ Гинзбург Л. Творческий путь Лермонтова. Л., 1940. С. 201 (курсив Гинзбург).

то есть кумиром (ср. у Хомякова: «...как долго целый мир, колена преклонив, <...> пред ним безмолвствовал смирен и молчалив»). Под «пламенными мечтателями», поклонявшимися ценностям европейской цивилизации, можно подразумевать кого угодно, как самих культурных героев «европейского мира», его создававших, прославлявших и воспевавших, — святых, мыслителей, религиозных и политических деятелей, художников, поэтов, — так и его страстных поклонников, находящихся за его пределами, скажем, русских «западников» от Петра Первого до Радищева или декабристов. Как и Хомяков, Лермонтов относит истинное величие Запада к его далекому прошлому, к «светлой юности», то есть к Средним векам и Возрождению; сам эпитет «светлая» явно переключается со световыми метафорами «Мечты». Тогда «язва просвещения» и «гордая роскошь», которые поражают «европейский мир», — это не изначальные пороки западной цивилизации, как у Руссо, а признаки наступившей после «светлой юности» исторической эпохи, связанные с потерей веры и «борьбой сомнений и страстей» — то есть скорее с веком разума и с той же Французской революцией, нежели с «мраком мировой реакции»¹⁹.

Совпадение представлений о судьбе Запада у столь разных современников — у молодого «европейца» Киреевского, еще столь далекого от славянофильства, и у его оппонента Хомякова, славянофильскую доктрину разрабатывающего, у философствующего Одоевского и у чуждого всякому отвлеченному философствованию Лермонтова, у лоялистов из уваровской партии и у их оппозиционно настроенных противников — свидетельствует о том, что в 1830-е годы в России складывается мифопорождающее историсофское верование в ско-

¹⁹ Несмотря на очевидную слабость аргументации Гинзбург, Эйхенбаум фактически признал ее правоту. В работе «Лирика Лермонтова» (1940) он писал, что в «Умирающем гладиаторе» «имеется явный намек на революцию 1789 г.: слова “Когда-то пламенных мечтателей кумир” надо понимать как воспоминание о Франции тех лет». Сходство выраженной в стихотворении идеи «гибели Европы» с тезисами славянофильской теории он теперь называет только внешним, объясняя отрицательное отношение Лермонтова к современному Западу наступившей после революции 1830 г. реакцией: «...за этими мыслями скрываются <...> выраженные в юношеской политической лирике и в поэмах тенденции, в центре которых — призыв к героическим делам» (цит. по: *Эйхенбаум Б. М.* Статьи о Лермонтове. М.; Л., 1961. С. 324). Более глубокий и тонкий анализ исторических взглядов Лермонтова в связи с «Умирающим гладиатором» см. в современных работах: *Лотман Ю. М.* «Фаталист» и проблема Востока и Запада в творчестве Лермонтова // *Лотман Ю. М.* О русской литературе. Статьи и исследования (1958–1993). СПб., 1997. С. 609; *Немзер А.* Об «антиисторизме» Лермонтова // «Цепь непрерывного предания...» Сборник памяти А. Г. Тартаковско-го. М., 2004. С. 259–261.

рый и неминуемый конец «европейского мира»²⁰. Оно основывается на уподоблении развития историко-культурных формаций, условно определяемых как Запад и Восток, природным явлениям (запруженная река у Киреевского, восход и заход солнца у Хомякова) и/или росту и умиранию живых организмов и тел (оппозиция «старый, дряхлый Запад» и «юный славянский Восток» с его «свежими могучими соками» у Одоевского; «европейский мир» как умирающий гладиатор у Лермонтова). Из базового органицистского уподобления, характерного для романтического мышления как такового, выводятся и все сопутствующие метафоры мифа: Запад описывается как больной, зараженный, гниющий, бесплодный, обескровленный, агонизирующий или уже мертвый организм, а славянский Восток, наоборот, как организм молодой, еще неразвитый и только приближающийся к зрелости. России при этом отводится роль зрителя чужих страданий, наблюдающего с безопасной дистанции за агониями, «сатурналиями» или гладиаторскими боями на арене истории и ждущего своего часа, чтобы выйти триумфатором (или, в другом варианте, спасителем-врачом) на эту арену. «Русские выходят последние на сцену Европы, чтобы все закончить», — формулировал эту идею Шевырев в дневнике за 1830–1831 гг.²¹

Показательно, что возникновение этого верования не было обусловлено какими-то катаклизмами или очевидными кризисными явлениями на Западе. Как говорит Виктор, оппонент резонера в «Русских ночах»: «...Запад погибает? Что за вздор! Напротив, когда, в какую эпоху он был так богат силами и средствами жизни, как в нынешнюю? Все в нем движется: железные дороги пересекают его из края в край; промышленность дошла до чудесного; война сделалась невозможностью; личная безопасность ограждена; школы размножаются; тюрьмы смягчаются; науки идут исполинскими шагами»²². Виктор готов признать, что «настоящее состояние западной промышленности представляет много странного и печального», но не соглашается с мыслью, что негативные явления, характерные для развитых европейских стран, суть симптомы смертельного недуга. Примерно так же возражал Одоевскому Белинский после выхода «Русских ночей». «Неужели согласиться с Фаустом, что Европа

²⁰ Ср. замечание Ю. Янковского о том, что мысль о «гниющем Западе» и «просыпающемся Востоке» предшествует формированию цельной системы славянофильских воззрений (Янковский Ю. Патриархально-дворянская утопия. Страница русской общественно-литературной мысли 1840–1850-х годов. М., 1981. С. 106–107).

²¹ Цит. по: Мазур Н. Н. Из истории формирования русской национальной идеологии (первая треть XIX в.) // «Цепь непрерывного предания...» Сборник памяти А. Г. Тартаковского. С. 229, прим. 20.

²² Одоевский В. Ф. Русские ночи. С. 149–150.

того и гляди прикажет долго жить, а мы, славяне, напечем блинов на весь мир, да и давай поминки творить по покойнице? — спрашивал он. — <...> Нельзя так легко делать заключения о таких тяжелых вещах, какова смерть, — не только народов (морить народов нам уж нипочем), но целой и притом лучшей, образованнейшей части света. Европа больна, — это правда, но не бойтесь, чтоб она умерла: ее болезнь от избытка здоровья, от избытка жизненных сил; это болезнь временная, это кризис внутренний, подземной борьбы старого с новым; это — усилие отрешиться от общественных оснований средних веков и заменить их основаниями, на разуме и натуре человека основанными. <...> Мы предвидим наше великое будущее; но хотим непременно иметь его на счет смерти Европы: какой поистине *братский* взгляд на вещи! <...> Неужели для счастья одного брата непременно нужна гибель другого? Какая не философская, не цивилизованная и не христианская мысль!..»²³

В контексте конца 1820-х — начала 1830-х годов мысль о гибели Запада выглядела тем более странной, что все основные историко-философские доктрины Западной Европы тогда были как раз исполнены оптимизма по поводу ее настоящего и будущего. Так, Ф. Гизо в курсе лекций «История цивилизации в Европе» постулировал, что европейская цивилизация еще очень и очень молода, непрерывно прогрессирует, и что путь, который ей еще предстоит пройти, неизмеримо длиннее того, который она проделала²⁴. Явно противоречила идея скорого конца европейской цивилизации и исторической концепции Гегеля. Даже такие католические критики новых демократических порядков и религиозного индифферентизма, как Балланш во Франции или Ф. Шлегель в Германии в это время предсказывают грядущее социальное обновление, начало, по «Философии истории» (1828) Шлегеля, «эпохи Света»²⁵. Поэтому может показаться, что мы имеем дело с чисто русской мыслительной конструкцией, с национальной «мечтой самолюбия», как полагал Белинский. Однако в данном случае не грех прислушаться к Н. Г. Чернышевскому, который писал в «Очерках гоголевского периода»: «Откуда же взялась у нас <...> или лучше сказать, не мысль, а *мелодраматическая фраза* о том, что Запад дряхлый старец, который извлек из жизни уже все, что мог извлечь, который истощился жизнью и т. д.?.. Да все из разных западных же пустыньских или ту-

²³ Белинский В. Г. Собрание сочинений. М., 1981. Т. 7. С. 120.

²⁴ Guizot F. Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'Empire Romain jusqu'à la Révolution Française. Paris, 1828. P. 30.

²⁵ См. об этом: Koenraad W. Swart. The Sense of Decadence in Nineteenth-century France. The Hague, 1964. P. 60, 74; Groh D. Russland und das Selbstverständnis Europas. Ein Beitrag zur europäischen Geistesgeschichte. Neuwied, 1961. S. 145.

поумniejszych книжонок и статей...»²⁶ Как кажется, Чернышевский в данном случае был прав, и истоки идеи следует искать в некоторых маргинальных ветвях немецкого и французского романтизма конца XVIII — первой трети XIX века.

Прежде всего, следует обратить внимание на немецкую традицию, восходящую к смутным пророчествам Гердера в «Дневнике моего путешествия в 1769 году» о возникновении в будущем «новой Греции» на северо-западе континента, откуда «дух распространится по всей ныне погруженной в сон Европе и заставит ее служить тому же духовному началу»²⁷. Как показал А. Л. Зорин, националистическая концепция С. С. Уварова сложилась под сильным воздействием идей Ф. Шлегеля о народе как «собирающей личности», едином организме, высшей стадией развития которого является теократическая империя²⁸. Однако в 1800–1810-е годы эти идеи у Шлегеля причудливо сочетались с эсхатологическими пророчествами. Так, в программной статье «Путешествие во Францию», напечатанной в журнале «Европа» (1803), который, вероятно, послужил Киреевскому моделью для его «Европейца», Шлегель высказал мысль о завершенности западной цивилизации. Характер Европы, писал он, «полностью выявился и завершился, и именно это и составляет сущность нашей эпохи. Отсюда полная неспособность к религии, если мне позволено употребить это слово, абсолютное отмирание высших органов. Глубже человек не может пасть, это невозможно. <...> сам человек почти стал машиной»²⁹. Согласно Шлегелю, в будущем Запад ждет неизбежное загнивание: «Род людей в Европе не будет изменяться к лучшему, но <...> будет все более и более ухудшаться в силу внутренней испорченности и, наконец, и внешне погрузится в состояние немощи и нищеты, которое не может преобразиться, в котором он, возможно, будет пребывать затем века, и лишь внешнее воздействие сможет извлечь его оттуда»³⁰. Это новое возрождение, считал он, может придти только с Востока, из Азии, где сохраняется неиссякаемый источник религиозного энтузиазма», или, по его метафоре, «световой пламень».

²⁶ Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений. Т. III. М., 1947. С. 83.

²⁷ Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.; Л., 1959. С. 325–326. Подробнее о взглядах Гердера на будущее славянских народов см.: *Groh D. Russland und das Selbstverständnis Europas. S. 65–80; Malia M. Russia under Western Eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, Mass.; London, 2000. P.130–131.*

²⁸ См.: Зорин А. Л. Идеология «православия — самодержавия — народности» и ее немецкие источники // В раздумьях о России (XIX век). М., 1996. С. 105–128.

²⁹ Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М., 1983. Т. 2. С. 16–17.

³⁰ Там же. С. 20.

Впоследствии, когда в Германии начали усиливаться эсхатологические настроения³¹, Шлегель несколько модифицировал свою позицию, признав, что гибель Европы (а с нею и всего мира) возможна, но отнюдь не обязательна. В его статьях 1820 г., напечатанных в венском журнале «Concordia», речь идет о «старческом упадке» лишь романских народов, которым противопоставляются более молодые германцы и славяне. Наиболее вероятным сценарием будущего ему представляются «славянские ожидания» («slavischen Erwartungen») — то есть выход на авансцену истории славянских народов, которые займут ведущие позиции в культуре и политике Европы и, благодаря своей религиозности, спасут ее от кризиса³².

Как представляется, именно от этих пророчеств Шлегеля и от его идеи «славянских ожиданий» ведут свое происхождение органицистские концепции раннего Киреевского, Одоевского и «Мечта» Хомякова с ее световой символикой.

Для Лермонтова же (у которого идея омоложения западной цивилизации с помощью русской крови отсутствует) более актуальной была эсхатологическая риторика ряда французских писателей-романтиков, которые с конца 1820-х годов ведут полемику с взглядами Гизо и его школы, описывая историю «европейского мира» не как линейный, непрерывный прогресс, а как квази-органический цикл, подходящий к завершению. В одном из главных манифестов французского романтизма, предисловии к драме «Кромвель» (1827), Виктор Гюго писал, что цивилизация растет и развивается подобно отдельному человеку: когда-то она была ребенком, потом зрелым мужем, а сейчас мы наблюдаем ее импозантную старость³³. При публикации предисловия Гюго исключил из него большой фрагмент, где он развил эту аналогию, и напечатал его два года спустя в «Revue de Paris» (1829). В этом фрагменте он говорит, что европейская цивилизация — третья великая цивилизация на земле — приближается к своему завершению. «Наша постройка очень стара. Она распадается на отдельные части. Рим больше не является ее центром. Каждый народ тянет в свою сторону. Больше нет единства, ни религиозного, ни политического. Мнение заменило веру»³⁴. По Гюго, пришло время для переноса цивилизации в другое место: подобно тому, как африканская цивилизация сменила азиатскую, а европейская — африканскую, четвертая великая цивилизация должна возникнуть

³¹ См. об этом: *Schenk H. G. The Mind of the European Romantics. An Essay in Cultural History.* N. Y., 1966. P. 32.

³² См. об этом: *Groh Dieter. Russland und das Selbstverständnis Europas.* S 144.

³³ *Oeuvres de Victor Hugo.* Bruxelles, 1837. T. 2. P. 8.

³⁴ *Hugo Victor. Fragment // Revue de Paris. 1829. Tome III (June). Quatrième livraison.* P. 208.

в Северной Америке, где, как он пишет, уже созданы условия для полной реализации принципа свободы.

Если перспектива создания новой цивилизации казалась Гюго заманчивой, то консерватору Шатобриану она внушала только страх и отвращение. В 1817 г. посетивший его американский историк Джордж Тикнор записал следующий его монолог: «Я не верю в европейское общество. <...> Через пятьдесят лет в Европе не останется ни одного *законного* монарха; от России я не жду ничего, кроме военного деспотизма; а через сто лет, подумайте, *сто!*.. будущее покрыто тучами, слишком темными для человеческого зрения; хочется сказать, слишком темными и непроницаемыми для пророчества. Вот в чем ужас нашего положения: *возможно* мы присутствуем не только при гибели Европы, но и гибели всего мира»³⁵. В России должны были обратить внимание на очерк Шатобриана «Будущее мира», напечатанный как приложение к статье о нем Сен-Бева в «Revue des deux mondes» и впоследствии положенный в основу заключительной 44-й книги «Замогильных записок» (датируемой 25 сентября 1841 г.)³⁶. В этом очерке он предсказывал, что в результате наступления демократии в Европе и Америке возникнет новый тип общества, похожий по устройству на пчелиный улей, где «погибнут воображение, поэзия, искусства; отдельный человек будет лишь рабочей пчелой, колесиком в машине, атомом в организованной материи. <...> через свободу мы придем к тому же социальному окостенению, к какому Китай пришел через рабство». Однако для Шатобриана, как и для Гюго, все грядущие перемены «вызваны старостью европейского мира», который «умирает естественной смертью». «Современное общество, — пишет он, — складывалось на протяжении десяти веков: сейчас оно разлагается (*se décompose*). Поколения средних веков были полны сил, потому что это было время подъема. Мы же, мы слабы, потому что наше время — это время упадка. Этот угасающий мир не обретет силу, пока он не дойдет до последней степени болезни...»³⁷

³⁵ Life, Letters, and Journals of George Ticknor. 8th Ed. Vol. I. Boston, 1877. P. 140. Любопытно, что в беседе с Тикнором Шатобриан также заметил, что хотел бы посетить Россию, дабы «лучше оценить ту державу, от которой исходит угроза мирового господства».

³⁶ Avenir du Monde // Revue des deux mondes. 1834. Tome II. Troisième série. P. 232–238.

³⁷ Там же. P. 237. Ср. в «Замогильных записках»: «Мы, самое зрелое и передовое государство, обнаруживаем признаки упадка. Как смертельно больной человек озабочен тем, что ждет его в могиле, так вымирающий народ беспокоится о своей грядущей судьбе. <...> Старый порядок в Европе близок к смерти <...> современная разложившаяся цивилизация гибнет по своей вине; жидкость, содержавшаяся в сосуде, не излилась в другую чашу, ибо самый этот сосуд разбился. <...> Что касается старой Европы, то жизнь ее конче-

Сходные идеи с невероятной настойчивостью высказывал на страницах французской печати известный критик и переводчик, блестящий знаток английской и немецкой литератур Филарет Шаль, которого, как кажется, знали в России³⁸. Едва ли не в каждую свою статью или рецензию, независимо от того, какова была их основная тема, он вставлял пассажи о распаде современного общества, которое он сравнивал с умирающим, а иногда и мертвым телом, и называл сенильным старцем, впавшим в детство. Например, в рецензии на книгу «О просвещении матерей семейства» он восклицал: «Посмотрите вокруг себя, развеите туман политических клевет и обвинений, разорвите завесу лжи, и вы увидите болезнь в современном обществе. И какую странную болезнь. Это сильнейшая моральная боль, скрытая в развитом физическом теле, язва под золотым покровом. Никогда прежде мы не видели больше благотворительности, больше промышленности, больше просвещения. И никогда прежде мы не видели больше болезненных мыслей, злобных или горьких чувств, больше сожалений и растоптанных надежд. Благополучие народа растет, кричат нам экономисты, промышленность развивается; физические силы природы используются с замечательной легкостью. <...> Наука, власть, просвещение, искусства объединяют усилия, чтобы улучшить жизнь. Везде разлит великолепный и яркий свет. Да, но почему же наши мучения все усиливаются! И мы страдаем, и мы плачем, и мы проклинаем! Нам говорят: больше нет войн, и повсюду воцарился мир. Мы проливаем мало крови, но много слез. Душа народов, охваченная ненавистью, завистью, гневом, наполненная тайными обидами и сгущенной горечью, страдает и истекает кровью. <...> Наше общество пожирает тяжелая, неизлечимая болезнь. <...> Низвергнув с трона бедную человеческую душу, заставив ее сомневаться в самой себе, изгнав любовь и веру, превратив все в скелет и окаменелость, восславив страсти и желания тела, уничтожив веру как моральную основу <...> не иссушили ли вы главный источник счастья? Подумайте!...»³⁹ Современному разлагающемуся обществу, страдающем

на. Больше ли надежд у молодой Европы? Современный мир, лишившийся власти, данной от Бога, похоже, находится меж двух невозможностей: невозможностью прошлого и невозможностью будущего» (*Шатобриан Ф. Р. де. Замогильные записки / Пер. О. Гринберг и В. Мильчиной. М., 1995. С. 582–583, 586*).

³⁸ См. письмо Чаадаева к А. И. Тургеневу от 1 мая 1835 г.: «Доставьте мне удовольствие: соберите кой-какие сведения о некоем Филарете Шаль, превосходные статьи которого попадают мне в *Revue de Paris*» (*Чаадаев П. Я. Сочинения / Составление, подготовка текста, примеч. В. Ю. Прокуриной. М., 1989. С. 374*).

³⁹ *Csl. De l'Education des Mères de famille, ou la Civilisation du genre humain par les femmes; par M. Aimé-Martin... (Second article) // Journal des debats. 1834. 27 aout*

от «неизлечимой и глубокой болезни» (*un mal incurable, une profonde maladie*)⁴⁰, Шаль противопоставляет Средневековье — благородную, светлую «эпоху, исполненную величия и силы, которая не была только физической, которую еще не пожрал и не поглотил индустриализм, не захватила материя, и которое не превратило человека в машину, его труд — в накопление капитала, а мысль — в цифру, которую надлежит занести в графу расходов или доходов». «Наша цивилизация, преисполненная гордыни, — говорит он, — забыла великие достижения Средневековья, которым мы обязаны всем»⁴¹.

Прочитывая в «Мемуарах» те места из своих статей 1830-х годов, в которых он сравнивал состояние современного общества с «трупом, разлагающимся в могиле» («*du cadavre s'éparpillent dans le tombeau*») и предвещал гибель «старому миру», Шаль жалуется, что в 1830-е годы его пророчества и диагнозы не слушали или же над ними потешались⁴². В России же Шаля и его немногочисленных единомышленников услышали и отнеслись к ним более чем серьезно. Вероятно, именно цветистые, насыщенные риторическими фигурами высказывания о гибели западной культуры Гюго, Шатобриана, Шаля и некоторых других авторов и послужили Лермонтову, наряду с «Мечтой» Хомякова, источником для второй части «Умиряющего гладиатора». Во всяком случае, все антропоморфные образы и метафоры, которыми он изображает и оценивает прошлое и настоящее «европейского мира» — исполненная сил юность, впоследствии забытая; язва просвещения и гордая роскошь; борьба сомнений и страстей; мучения, утрата веры и надежд, последние страдания; бесславная голова, склоняющаяся к могиле — имеют, как видно из приведенных выше примеров, прямые параллели у тех французских романтиков, которые — с тех или иных позиций — отвергли оптимистическую доктрину исторического прогресса и предрекли западной цивилизации скорую и бесславную кончину.

О том, что вторая часть «Умиряющего гладиатора» была написана Лермонтовым под влиянием современной французской публицистики, свидетельствует концовка стихотворения, где речь идет об увлечении западного общества «песнями старины» и «волшебными преданьями» рыцарских времен — иными словами, той ветвью современной романтической литературы, которая обращается к древности и средневековью, с одной стороны, как к предмету изображения (скажем, романы Вальтера Скотта или «Собор Парижской Богоматери» Гюго), а с другой, как к прецеденту и модели для новых поэтических и прозаических жанров (скажем, для жанра бал-

⁴⁰ Там же.

⁴¹ *Cs. C'est de Jehanne ... (Deuxieme article) // Journal des debats. 1834. 22 septembre.*

⁴² *Chasles Philarète. Memoires. T. I. Paris, 1876. P. 373–374, 377.*

лады или для фантазий и сказок в духе Гофмана). По мысли Лермонтова, литература такого рода есть порождение дряхлого и больного общества; она являет собой нечто вроде наркотика, которым его потчуют «насмешливые льстецы», погружая в сладкий, но несбыточный сон, чтобы «заглушить последние страдания» умирающего. Этот ход мысли прямо восходит к еще одному манифесту французского романтизма — к знаменитой статье Шарля Нодье «О фантастическом в литературе». В ней он говорит о том, что возрождение традиций средневековья в современной литературе, ее уход в волшебный мир воображения, непосредственно связаны с приближающимся концом западной цивилизации. «Постоянно увеличивающиеся беды современного общества возвестили о его гибели приговоренному к казни поколению с такой ясностью, с какой не прозвучала бы даже труба Ангела Апокалипсиса», — писал Нодье. Все гении современной литературы — Байрон, Шатобриан, Виктор Гюго, Ламартин — «услышали предупреждение музы гибнущего общества и повиновались ее повелениям, как непререкаемому голосу умирающего, которого ждет уже отверстая могила». Особо Нодье выделяет немецких романтиков, чьи блистательные фантазии, по его слову, «возрождают для старческих часов нашего упадка (*pour les vieux jours de notre décrépitude*) свежие и сияющие вымыслы нашего детства. На уставшую от предсмертной агонии душу смятенных народов, которые борются с неизбежным концом, чтение этих писателей действует как светлый сон, исполненный пленительных грез, убаюкивающий и приносящий облегчение»⁴³. Очевидно, что в концовке «Умирающего гладиатора» Лермонтов точно — вплоть до явных мотивных переключек (ср.: светлая юность / «сияющие вымыслы нашего детства», «светлый сон»; заглушить последние страдания / «предсмертная агония, приносящая облегчение»; пред кончиною / «борются с неизбежным концом», «голос умирающего, которого ждет отверстая могила»; несбыточные сны / «сон, исполненный пленительных грез») — повторяет рассуждение Нодье о «наркотической» функции романтической литературы в гибнущем обществе, дополняя его лишь напоминанием об амбивалентной, окрашенной иронией позиции романтических писателей по отношению к «европейскому миру» (насмешливые льстецы).

О том, что русская идея гибели Запада имела преимущественно западные корни уже писал П. Б. Струве в специальной работе, посвященной программной статье С. П. Шевырева «Взгляд русского на современное образование Европы», которая была помещена в первом номере «Москвитянина» (1841)⁴⁴. Он обратил внимание

⁴³ *Œuvres de Charles Nodier. Romans, Contes et Nouvelles. V. 5. Genève, 1972 [Réimpression de l'édition de Paris, 1832–1837, 12 volumes]. P. 105–107.*

⁴⁴ См.: *Струве П. Б.* С. П. Шевырев и западные внушения и источники афоризма о «гнилом» или «гниющем» Западе. Изыскания, сопоставления и ма-

на то, что, говоря об упадке искусств, литературы, философии и нравов в Италии, Англии, Франции и Германии, Шевырев цитирует большой пассаж из недавней статьи уже знакомого нам Филарета Шаля, где тот в очередной раз предрекал летаргический сон или духовную смерть «европейскому миру» и предсказывал великое будущее «двум молодым актерам», жаждущим выйти на сцену — Америке и России:

«Нечего отчаиваться за человечество и за его будущее, если бы и пришлось нам, народам Запада, уснуть, — уснуть сном племен ветхих, погруженных в летаргию бдения, в смерть живую, в деятельность безлюдную, в изобилие недоносков, чем так долго страдала издыхавшая Византия. Я боюсь, чтобы мы не дожили до того же. На литературу находит бред горячки. Человек материальный, рабочий телу, каменщик, инженер, архитектор, химик, могут отрицать мое мнение; но доказательства очевидны. Откройте хоть 12000 новых кислот; направьте аэростаты машиной электрической; изобретите средство убить 60000 человек в одну секунду: несмотря на все это, нравственный мир Европы будет все-таки тем, что он уже есть: умирающим, если не совсем мертвым. С высоты своей уединенной обсерватории, летая по темным пространствам и туманным волнам будущего и прошедшего, философ, обаянный ударять в часы современной Истории и доносить о переменах, совершающихся в жизни народов, — все принужден повторять свой зловеющий крик: *Европа умирает!*»⁴⁵

П. Б. Струве полагал, что перед нами «замечательное место, которое должно быть признано ближайшим и непосредственным *внушением*, вдохновившим в лице Шевырева, “славянофильскую” мысль на формулировку идей, воспринятую противниками славянофилов и всем потомством, как “теория гниения Запада”»⁴⁶.

С этим суждением никак нельзя согласиться, потому что и Шаль лишь повторяет здесь общие места своей и родственной ему французской публицистики⁴⁷, и Шевырев не формулирует новую идею, териали // Записки русского научного института. Белград, 1941. № 16–17. С. 201–252.

⁴⁵ Шевырев С. Взгляд русского на современное состояние Европы // Москвитянин. 1841. Ч. 1. № 1. С. 244–245. Оригинал см.: *Charles P. Revue de la littérature anglaise // Revue des deux mondes*. Т. 24. 1840, Novembre. P. 362–363.

⁴⁶ Струве П. Б. С. П. Шевырев и западные внушения и источники афоризма о «гнилом» или «гниющем» Западе. С. 228.

⁴⁷ В процитированном Шевыревым пассаже сам Шаль писал, что упадок европейских народов «до какого-то ничтожества полукитайского, до какой-то слабости всеобщей и неизбежной» он «предсказывает в течение

а воспроизводит сложившийся к тому времени концепт. И хотя, как правильно замечает Струве, самой формулы «гниение Запада» в его статье нет⁴⁸, он пользуется всем регистром биологических метафор и сравнений, которые вытекают из исходного уподобления западной культуры больному организму и, соответственно, подразумевают разложение, распад, умирание. Реформацию в Германии и революцию во Франции, например, он называет «переломными болезнями», которые «явились неизбежным следствием Западного развития, принявшего в себя двойство начал и утвердившего сей раздор нормальным законом жизни. Мы думаем, что эти болезни уже прекратились; что обе страны, испытав перелом недуга, вошли опять в развитие здоровое и органическое. Нет, мы ошибаемся. Болезнями порождены вредные соки, которые теперь продолжают действовать и которые уже в свою очередь произвели уже повреждение органическое и в той, и в другой стране, признак будущего саморазрушения. Да, в наших искренних, дружеских, тесных сношениях с Западом, мы не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг, окруженным атмосферой опасного дыхания. Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим трапезу мысли, пьем чашу чувства... и не замечаем скрытого яда в беспечном общении нашем, не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет!»⁴⁹ Все французские писатели, пишет Шевырев, чувствуют «болезненное состояние своего отечества во всех отраслях его разви-

пятнадцати лет и против которой он не находит целительного средства» (*Шевырев С.* Взгляд русского на современное состояние Европы. С. 242; *Charles P.* Revue de la littérature anglaise. P. 362).

⁴⁸ Шевырев назвал Европу «гнилой» еще в письме к И. Киреевскому от 22 декабря 1831 г.: «Всегда любил Россию, но, посетив гнилую Европу, я обожаю свое отечество. Европа перед нами дрожит, как листок: скоро, надеюсь, будет нам поклоняться» (цит. по: *Янковский Ю.* Патриархально-дворянская утопия. С. 36). Познакомившись в 1839 г. с братьями Киреевскими, Т. Н. Грановский в письме к Н. В. Станкевичу так изложил основные положения их философии: «Запад сгнил и от него уже не может быть ничего, русская история испорчена Петром, — мы оторваны насильственно от родного исторического основания и живем наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоит в возможности беспристрастно наблюдать чужую историю, это даже наше назначение в будущем» (Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. II. С. 369). Ясно, что о «гниении» европейской цивилизации ее русские критики начали говорить задолго до статьи Шевырева и полемических откликов на славянофильские антизападные идеи в публицистике 1840-х годов и, в частности, у Белинского, который, как обычно считается, первым употребил формулу «гнилой Запад» в рецензии 1845 г. на «Тарантас» В. Сологуба (см. статью «Гнилой Запад» в справочнике: *Ашукин Н. С., Ашукина М. Г.* Крылатые слова. М., 1996. С. 90–92).

⁴⁹ *Шевырев С.* Взгляд русского на современное состояние Европы. С. 247.

тия», но говорят об ужасном недуге с «холодной безнадежностью»; даже исконное чувство веселья «заедено злым червем, растущим из болезненного гниения жизни»⁵⁰. Запад по отношению к России он сравнивает со столетним дряхлеющим деревом, которое застит свет молодому, свежему растению и потому должно быть срублено; со старой няней, сковывающей кипящую в резвом ребенке жизнь; с брюзгливым стариком, «который в своенравных порывах бессильного возраста злится на своего наследника, неизбежно признанного овладеть со временем его сокровищами»⁵¹.

За риторическими формулами Шевырева и его единомышленников чувствуется абсолютная, иррациональная убежденность в том, что гибель Запада так же неизбежна, как неизбежна смерть больного старика или столетнего кедра.

«Общества падают не от сильных каких-нибудь потрясений, не вследствие какой-нибудь борьбы, — писал Хомяков в работе «По поводу Гумбольдта», — они падают как иногда старые деревья, утратившие весь свой жизненный сок и еще недавно выдержавшие сильную бурю, с громом и гулом падают в тихую ночь, когда в воздухе нет достаточного движения, чтобы покачнуть лист на свежих деревьях; они умирают, как умирают старики, которым по народной поговорке — *надоело жить*. Только умственно слепому позволено было бы не видеть тут необходимости исторической»⁵². Как и все славянофилы, он не сомневается, что Запад обречен; даже Англия, о которой он, известный англофил, отзывался с сочувствием и иногда восхищением, не избежит общей европейской судьбы: «Не верится, чтобы земля, воспитавшая так много великого, давшая так много прекрасных примеров человечеству <...> могла погибнуть, а гибель неизбежна»⁵³. Такая вера не нуждается в рациональных аргументах, доказательствах и верификационных процедурах, а лишь прикидывается «научной»

⁵⁰ Там же. С. 267.

⁵¹ Там же. С. 290–291. Фразеология Шевырева была быстро усвоена читателями «Москвитянина». Так, один из них в анонимных «Вестях из Одессы» бранил «нерусский» город: «...от людей так и несет холодом. Русского радушия и слыхом не слыхать, не то чтобы видом повидать. Да как и существовать ему, этому свежему, теплему, святому чувству, в городе, населенном преимущественно Евреями и выходцами из Западной, дряхлой, хладеющей и отживающей век свой Европы» (Москвитянин. 1841. № 4. С. 554–555). За родной город и Европу вступился другой корреспондент журнала, подпавший свою реплику «Житель Одессы». «Ради Бога, господа, удержитесь от таких юношеских фраз, — писал он, — и погодите еще отпевать Западную Европу, когда она, слава Богу, здравствует. Чем виновата эта Европа, что она — не то, что *мы*» (Москвитянин. 1841. № 6. С. 536).

⁵² Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. М., 1861. Т. 1. С. 147–148.

⁵³ Там же. С. 139. Ср. также пророчества о гибели Англии в стихотворениях Хомякова «Остров» (1836) и «России» (1839).

теорией; единственный вопрос, который она ставит, касается сроков и способов неминуемой гибели. Только об этом возможны разные мнения, зависящие от конкретной исторической ситуации. Так, Тютчев, напуганный событиями 1848 года, полагал, что Запад вот-вот погибнет насильственной смертью, в огне революций и войн: «Запад уходит со сцены, все рушится и гибнет во всеобщем мировом пожаре — Европа Карла Великого и Европа трактатов 1815 года, римское папство и все западные королевства, Католицизм и Протестантизм, уже давно утраченная вера и доведенный до бессмыслия разум, невозможный отныне порядок и невозможная отныне свобода. А над всеми этими развалинами, ею же нагроможденными, цивилизация, убивающая себя собственными руками»⁵⁴. Пятнадцать лет спустя, в мирное и спокойное время, Достоевский обнаруживает апокалиптические знаки конца на Всемирной выставке в Лондоне, где демонстрируются достижения западной цивилизации: «...вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающегося...»⁵⁵ Сроки и способы гибели здесь не определены, но зато ей придан сакральный характер.

В 1870-е годы, комментируя текущие политические и военные события в «Дневнике писателя», Достоевский то и дело впадает в пророческий раж, повсюду находит «ужасные симптомы» и сообщает читателю, что «последняя битва близится с страшной быстротой»⁵⁶, что «мы именно накануне самых величайших и потрясающих событий и переворотов в самой Европе»⁵⁷, что «все это “близко, при дверях”»⁵⁸. Над этими пророчествами насмеялся язвительный современник:

О гибели Европы целой
Печатно нам толкует смелый
Фанатик страстный и чужак,
И верим мы, как остолопы,
Что на развалинах Европы
Воздвигнем всеславянский стяг.⁵⁹

⁵⁴ Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений и писем: В 6 т. М., 2003. Т. 3. Публицистические произведения. С. 157.

⁵⁵ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 5. С. 70. Крайне характерно, что в самом начале «Зимних записок» цитируется «Мечта» Хомякова: «Вся “страна святых чудес” представится мне разом, с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе».

⁵⁶ Там же. Т. 26. С. 22.

⁵⁷ Там же. С. 87.

⁵⁸ Там же. С. 168. Достоевский цитирует Новый Завет (Мф. 24, 33).

⁵⁹ Минаев Д. Д. Всем сестрам по серьгам: Юмористический сборник. СПб., 1881. С. 106.

Действительно, по Достоевскому, для всей романо-германской Европы XIX век должен закончиться грандиозной катастрофой; восставшие пролетарии, — «будущие дикие», из которых «изготавливается <...> будущая бесчувственная мразь», разрушат западный мир⁶⁰, и на всем континенте останется только одна держава — Россия⁶¹:

«Да она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного. Муравейник, давно уже созидавшийся в ней без церкви и без Христа <...> с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим все, все общее и абсолютное, — этот созидавшийся муравейник, говорю я, весь подкопан. Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в дверь и, если ему не отворят, сломает дверь. <...> Наступит нечто такое, чего никто и не мыслит. Все эти парламентаризмы, все исповедуемые теперь гражданские теории, все накопленные богатства, науки, жида — все это рухнет в один миг и бесследно <...>. Нет, теперь уже не по-прежнему будет; они [пролетарии] бросятся на Европу, и все старое рухнет навеки. Волны разобьются лишь о наш берег, ибо тогда только, въявь и воочию, обнаружится перед всеми, до какой степени наш национальный организм особенлив от европейского»⁶².

Как было давно замечено, убеждение Достоевского в скорой гибели Западной цивилизации разделял и его антагонист по многим другим вопросам — А. И. Герцен, которого Н. Н. Страхов назвал «первым нашим западником, отчаявшимся в Западе»⁶³. «Достаточно одного номера любой газеты, чтобы увидеть страшную болезнь, под которой ломится Европа»⁶⁴; «она дряхлый Протей, разрушающийся организм»⁶⁵; «Европа приближается к страшному катаклизму»⁶⁶; «Мы довольно долго изучали хилый организм Европы, во всех слоях и везде находили вблизи перст смерти»⁶⁷; «роль *теперешней* Европы совершенно окончена»⁶⁸ — это цитаты не из «Дневника писателя», а из статей и книг революционера-социалиста. Ставя Европе сходный диагноз, Достоевский и Герцен расходились лишь в предположениях о течении болезни со смертельным исходом: согласно

⁶⁰ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 23. С. 95.

⁶¹ Там же. Т. 22. С. 122.

⁶² Там же. Т. 26. С. 167–168.

⁶³ Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки. Кн.1. СПб., 1887. С. 97.

⁶⁴ Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1954–1966. Т. 12. С. 424.

⁶⁵ Там же. Т. 7. С. 309.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Там же. Т. 6. С. 616.

⁶⁸ Там же. Т. 12. С. 167.

Достоевскому, Запад должна была постигнуть страшная кровавая катастрофа наподобие Французской революции, тогда как Герцену, мыслившему современную ситуацию по аналогии с упадком античного мира, умирание Запада представлялось более или менее длительным процессом⁶⁹.

Прогнозы Герцена основывались не столько на биологических и/или апокалиптических параллелях, сколько на возмущенном эстетическом чувстве⁷⁰. Современная западноевропейская жизнь, в которой господствует «стоглавая гидра мещанства», «самодержавная толпа сплоченной посредственности» и «все получает значение гуртовое, оптовое, рядское, почти всем доступное, но не допускающее ни эстетической отделки, ни личного вкуса»⁷¹, ужасала его своим безобразием и уродством. С его точки зрения, западный мир приближается к точке равновесия, уравнивания, снятия противоречий, что равносильно прекращению жизни. «Для меня очевидно, — писал он в «Концах и началах», — что западный мир доразвился до каких-то границ. <...> и в последний час у него недостает духу ни перейти их, ни довольствоваться приобретенным... Париж и Лондон замыкают том всемирной истории — том, у которого едва остаются несколько нерезанных листов»⁷². Ненависть к пошлому буржуазному быту заставляет его повторять клише ранней славянофильской риторики: «...я середь мрачного, раздирающего душу реквиема, середь темной ночи, которая падает на усталый, больной Запад — отворачиваюсь от предсмертного стога великого борца, которого уважаю, но которому помочь нельзя, и с упованием смотрю на наш родной Восток, внутри радуясь, что я русский. <...> Я чую сердцем и умом, что история толкается именно на наши ворота...»⁷³.

Еще в 1845 году издевавшийся над «черными пророчествами» «Москвитянина» о «погибающем Западе» и веривший, что современные европейцы жертвуют собою «науке, идеям, человечеству»⁷⁴, Герцен резко изменил свои взгляды в эмиграции, особенно после

⁶⁹ Подробнее см.: Долинин А. Достоевский и Герцен. (К изучению общественно-политических воззрений Достоевского) // Достоевский Ф. М. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Пб., 1922. С. 285–288.

⁷⁰ Ср.: «...его борьба с мещанством Западной Европы, его страстное обличение моральной ограниченности и духовного ничтожества мещанства определялись главным образом эстетическим отвращением» (*Зеньковский В. В.* История русской философии. 2-е изд. Paris, 1989. Т. 1. С. 283. См. также раннюю книгу Зеньковского: Русские мыслители и Европа: Критика европейской культуры у русских мыслителей. Paris, 1926. С. 101–115).

⁷¹ *Герцен А. И.* Собрание сочинений. Т. 16. С. 141, 140.

⁷² Там же. С. 159.

⁷³ Там же. Т. 12. С. 431–432, 433.

⁷⁴ Там же. Т. 2. С. 134.

поражения революций 1848 года. Сам он объяснял переход к новому «воззрению на Европу», которое мало чем отличалось от «черных пророчеств», непосредственным опытом жизни за границей, полностью опровергшим умозрительные и в корне неверные представления русских западников о современном Западе как воплощенном идеале:

«Мы, вообще, знаем Европу школьно, литературно, т. е. мы не знаем ее, а судим *à livre ouvert*; по книжкам и картинкам, так, как дети судят по “*Orbis pictus*” о настоящем мире, воображая, что все женщины на Сандвичевых островах держат руки над головой с какими-то бубнами, и что где есть голый негр, там непременно в пяти шагах от него стоит лев с растрепанной гривой или тигр со злыми глазами. <...> Поживши год-другой в Европе, мы с удивлением видим, что, вообще, западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они *гораздо ниже* его»⁷⁵.

Отчуждение русского эмигранта от Запада заставляет его занимать позицию, которую Герцен назвал «чуждость в обе стороны»:

«Положение русского становится бесконечно тяжело. Он все больше и больше чувствует себя чужим на Западе и все глубже и глубже ненавидит все, что делается дома. Ни вблизи, ни вдали нет для него ни успокоения, ни отрады, — такое печальное положение редко встречалось в истории»⁷⁶.

Эта позиция, однако, имеет определенные плюсы: она позволяет «чужаку» мыслить себя проницательным наблюдателем, который видит то, что скрыто от самих автохтонов, и верно диагностирует «китайский маразм» умирающей европейской цивилизации. Если у Лермонтова русский взгляд на гибнущую Европу уподоблен ликованием зрителей гладиаторского боя, то Герцен уподобляет его «точке зрения прозектора»:

⁷⁵ Там же. Т. 10. С. 124. Ю. М. Лотман полагал, что очень плохое знание Запада вообще было свойственно русским западникам, которые конструировали его «по контрасту с наблюдаемой ... русской действительностью. Это был идеальный, а не реальный Запад. <...> Столкновение русского западника с реальным Западом, как правило, сопровождалось столь же трагическим разочарованием, как и столкновение их противников с реальной русской действительностью» (Лотман Ю. М. К построению теории взаимодействия культур // Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки. СПб., 2001. С. 611).

⁷⁶ Герцен А. И. Собрание сочинений. Т. 17. С. 279.

«Мне же особенно посчастливилось, — место в анатомическом театре досталось славное и возле самой клиники; не стоило смотреть в атлас, ни ходить на лекции парламентской терапии и метафизической патологии; болезнь, смерть и разложение совершались перед глазами»⁷⁷.

Забегая вперед, скажем, что по модели Герцена будут реагировать на неотзывчивость равнодушного западного мира и диагностировать его смертельные болезни многие русские эмигранты XX века.

Другую, квазинаучную модель антизападной диагностики предложил Н. Я. Данилевский в «России и Европе» (1869; отд. изд. 1871), где развитие «историко-культурных типов» последовательно уподобляется природным циклам и росту живых организмов. В главе «Гниет ли Запад?» с эпиграфом из «Мечты» Хомякова он утвердительно отвечает на поставленный в заголовке вопрос. Подобно своим предшественникам, вместо доказательств Данилевский прибегает к естественно-научным и историческим аналогиям, подменяя аргументы отнюдь не новыми метафорами. Как и Одоевский за 30 лет до него, Данилевский готов признать, что современная «Европа находится в апогее своего цивилизационного величия», но видит в этом обилии «плодов» «осень культуры», которая перешла свою «кульминационную точку» и склоняется «к западу своей жизни»: «Самое обилие результатов европейской цивилизации в нашем XIX столетии есть признак того, что та творческая сила, которая их производит, уже начала упадать, начала спускаться по пути своего течения». «Жатва ли это, или сбор плодов, или уже сбор винограда; позднее ли лето, ранняя или уже поздняя осень, сказать трудно, — заключает он, — но во всяком случае то солнце, которое возвращало эти плоды, перешло уже за меридиан и склоняется уже к западу»⁷⁸. Подобно Герцену, в революциях 1848 года он видит «начало конца», а в позднейшем примечании к «России и Европе» замечает: «Через 23 года наступил второй акт, второй призыв к всеобщей ломке, еще более ужасный, — дни коммуны в Париже. Не замедлит и третий, пока цель разрушения не будет достигнута»⁷⁹.

Синтезом социокультурной типологии Одоевского-Данилевского и эстетизма Герцена явились пророчества о гибели Запада Константина Леонтьева. Как и все его предшественники, Леонтьев опирается на органическую концепцию развития обществ и государств, которые подчиняются универсальному закону и проходят

⁷⁷ Там же. Т. 16. С. 148.

⁷⁸ Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германно-Романскому. Изд. третье с ... посмертными примечаниями. СПб., 1888. С. 174, 176, 180, 183.

⁷⁹ Там же. С. 254.

три обязательные стадии: первичной простоты (детство и юность), цветущей сложности (зрелость) и вторичного упрощения (старость). Прикладывая эту теорию к истории Западной Европы и России, он вслед за Герценом утверждает, что «все нации Европы, все культуры Запада подошли к страшному пределу, вступили на путь органического разложения и смерти, “цветущая сложность” для них в прошлом, в эпохе Возрождения и т. п.»⁸⁰. В итоговой, хотя и незавершенной работе с замечательным заглавием «Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения» он обличает западное общество, в котором побеждает тенденция к однообразию, к мещанской унификации, сводящей «всех и все к одному весьма простому, среднему, так называемому “буржуазному” типу западного европейца». Но если Герцен пророчествовал Западу фигуральную или, во всяком случае, растянутую во времени смерть — выпадение из истории в бессобытийную «китайщину», в торжество мещанства, как окончательной формы западной цивилизации, то Леонтьев предсказывает европейским государствам и культурам вполне буквальные и скорые «разрушение и смерть».

Могут спросить, — пишет он, — «где же верные признаки окончательного падения? Где доказательства, что государства Запада должны скоро погибнуть? Не провалятся же все люди, их составляющие, сквозь землю? Не выселятся же они из Европы и т. д.». Неопровержимое доказательство, по Леонтьеву, представляют цифры исторической хронологии. Поскольку ни один известный истории государственный организм не прожил более 1200 лет, — утверждает он, — а западноевропейские государства (если считать со времени Карла Великого), существуют более 1000 лет, то сроки окончательного разрушения близки. В подсчетах Леонтьева явно чувствуется школа хронологических толкований Апокалипсиса. Если мы вспомним, что началом империи Карла Великого принято считать 800 г., то предельным сроком гибели Запада оказывается 2000 год — то есть последний год второго миллениума, который в апокалиптических кодах обладает особой значимостью.

К концу Запада, согласно Леонтьеву, должен привести следующий геополитический сценарий: немцы двигаются к Атлантическому океану, романцы переселяются в Африку, где смешиваются с неграми. «Неужели это одно уже само по себе взятое не есть именно то, что называется разрушением прежних государств и постепенным падением прежней культуры?» — вопрошает он. Этот сценарий, пророчествует Леонтьев, начнет осуществляться, когда произойдут два исторических события: вспышка анархии в романских странах и ут-

⁸⁰ Бердяев Н. К. Леонтьев — философ реакционной романтики // Бердяев Н. Собрание сочинений. Т. 3. Типы религиозной мысли в России. Paris, 1989. С. 158.

верждение России на турецких проливах. И то, и другое, убежден он, «не только сбыточно, но и *неминуемо*», ибо «предчувствуется неким общим даже историческим инстинктом»⁸¹.

Хотя «исторический инстинкт» явно подвел и Леонтьева, и всех других русских прорицателей XIX столетия, в общей апокалиптической атмосфере «конца века» тема «гибели Запада» начинает звучать с новой силой — особенно у религиозных писателей и поэтов-символистов. Василий Розанов, например, в статье «Европейская культура и наше к ней отношение» и в других работах 1890–1900-х годов, говорит о том, что пророчества славянофилов и Леонтьева, безусловно, оправдываются; «колоссальный организм» западной культуры, «загнивая, дает только более удушливые миазмы, и все живое должно, избегая смерти через заражение, сторониться от него»⁸².

Весьма показателен случай «западника» Мережковского, который, посетив Францию, поведал о своих впечатлениях в поэме «Конец века». Хотя Париж ему чрезвычайно понравился и никаких признаков умирания в нем он не заметил, тем не менее, без дежурных эсхатологических страхов и он не обошелся:

Мне страшно <...> за этот праздник вечный,
За легкую толпу, за смех ее беспечный,
За яркие кафе и величавый ряд
Твоих, о Новый Рим, блистательных громад.
Ты, как богач, сказал: «У нас имения много,
Ешь, пей и веселись!» И ты забыл про Бога,
Но скорбь великая растет в душе у всех...
Надолго ль этот пир, надолго ль этот смех?
Каким путем, куда идешь ты, век железный?
Иль больше цели нет, и ты висишь над бездной?⁸³

У Брюсова апокалиптический Конь Блед в одноименной поэме врывается в огромный город, где «мчались омнибусы, кэбы и автомобили» — аллегорический образ Западного мира — и на фоне кровавого заката возвещает ему гибель:

Был у всадника в руках развитый длинный свиток,
Огненные буквы возвещали имя: Смерть.⁸⁴

⁸¹ *Леонтьев К.* Восток, Россия и славянство // *Собрание сочинений К. Леонтьева.* Т. 6. М., 1912. С. 75.

⁸² *Розанов В.* Европейская культура и наше к ней отношение // *Розанов В. В. Сочинения.* М., 1990. С. 152.

⁸³ *Мережковский Д. С.* Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 419.

⁸⁴ *Брюсов В.* Стихотворения и поэмы. С. 284.

Свой буйный восторг по поводу неминуемой катастрофы Брюсов выразил в поэме «Замкнутые»:

Борьба, как ярый вихрь, промчится по вселенной
И в бешенстве сметет, как травы, города,
И будут волки выть над опустелой Сеной,
И стены Тоуэра исчезнут без следа.

<...>

В руинах, завалившихся парламентской палатой,
Как будет радостен детей свободных крик,
Как будет весело дробить останки статуй
И складывать костры из бесконечных книг.⁸⁵

Антизападничество Блока, как показала З. Г. Минц, ведет свое происхождение от Достоевского. У обоих, замечает она, «западный мир мыслится <...> как мир свершившегося, прошлого, где полный порядок есть синоним застоя и в конечном итоге — смерти»⁸⁶. В статье «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» Блок прямо говорит о том, что Запад — это «прежнее, историческое, мертвое» и представляет его в виде аллегорической фигуры неподвижного, окаменевшего рыцаря с «мертвым взором», ставшего изваянием. Для европейской культуры, резюмирует он, «песенка жизни спета. Навеки не поднять забрала, не опустить на ржавых петлях моста через ров с невинной и злою водой, чтобы по этому мосту ворвалась в мертвый замок веселая и трагическая жизнь»⁸⁷ — жизнь, которая по Блоку, возможна только в России. В «Итальянских стихах» он проклинает современную Флоренцию с ее новыми уродливыми многоэтажными домами и хрипящими автомобилями за то, что она предала себя «всеевропейской желтой пыли» — то есть, как и вся Европа, предала себя гибели и должна исчезнуть в «сумрак вековой», сгинуть «в очистительных веках» (ср. пророчество Иезекииля о гибели Тира: «От множества коней его *покроет тебя пыль*, от шума всадников, колес и колесниц потрясутся стены твои <...>. И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои, и деревья твои, и землю твою бросят в воду [26, 10–12]).

Гибель Европы — одна из важных тем Второй (драматической) «Симфонии» Андрея Белого. О ней размышляет герой-резонер, «золотобородый аскет»:

⁸⁵ Там же. С. 171.

⁸⁶ Минц З. Г. Блок и Достоевский // Минц З. Г. Александр Блок и русские писатели. СПб., 2000. С. 100.

⁸⁷ Блок А. Собрание сочинений. Т. 5: Проза. М.; Л., 1962. С. 89, 92.

«3. Он думал — отсыял свет на западе и темнокрылая ночь надвигалась из-за туманного океана.

4. Европейская культура сказала свое слово... И это слово встало зловещим символом... И этот символ был пляшущим скелетом...

5. И стали бегать скелеты вдоль дряхлеющей Европы, мерцающая мраком глазных впадин»⁸⁸.

Герой Белого вообразает похороны Европы, в которых участвуют «великие могильщики и великие мерзавцы», — Ницше, Лев Толстой, Ибсен, Макс Нордау и другие современные мыслители, — украшающие ее труп «ложными драгоценностями»:

«2. Как погребали Европу осенним, пасмурным днем титаны разрушения, обросшие мыслями, словно пушные звери шерстью!

3. Моросил дождь, и уныло стонал ветер, заглушая слезы бедных матерей.

4. Они шли за черным гробом ее в одеждах, ночи подобных, с изображением черепа на мрачных капюшонах, с факелами ужаса в руках»⁸⁹.

В «Петербурге» Белый снова предрекает гибель Европы, инвертируя прогноз Леонтьева о бегстве французов в Африку и смешении с черной расой. Франция, сообщает Александру Ивановичу Дудкину его бес Шишнарфнэ, «под шумок вооружает черные орды и введет их в Европу», что поможет делу «ниспровержения культуры».

Казалось бы, после воцарения коммунистического режима и коммунистической идеологии, для которой неминуемая гибель «гниющего» капиталистического Запада — это одна из основных социально-экономических догм, русские интеллигенты религиозного склада должны были бы отказаться от антизападной эсхатологической риторики. Об этом уже в 1950-е годы интересно размышлял Г. Адамович, писавший, что после революции «Запад и Россия как будто поменялись ролями»: обновленная Россия «неожиданно обошла Запад слева», отказавшись от своего христианского призвания, а Запад, наоборот, стал представлять христианство и христианскую культуру. «Еще немного, — саркастически заметил Г. Адамович, — и мы при русской склонности к крайностям услышали бы, пожалуй, о “богоносце-Западе”»⁹⁰.

⁸⁸ Андрей Белый. Симфонии. Л., 1991. С. 147–148.

⁸⁹ Там же. С. 149–150.

⁹⁰ Адамович Г. Комментарии // Опыты. 1954. № 3. С. 95–96. Цит. по: Адамович Г. В. Собрание сочинений / Составление, послесловие и примеч. О. А. Коростылева. СПб., 2000. С. 384–385.

Подобную рокировку, однако, русская философско-религиозная мысль так и не совершила, ибо не смогла преодолеть свое недоверие к «безбожному» Западу. Блок, например, после революции предпочел объявить «богоносцем» скорее озверевшее отечественное быдло, чем западного буржуа, и только усилил свою критику западной культуры, предложив ей два варианта гибели: придти в объятия «скифов», от которых «хрустнет» ее «скелет», или пасть жертвой «монгольской дикой орды», которая будет «жечь города, и в церковь гнать табун, И мясо белых братьев жарить». По воспоминаниям Андрея Белого, именно в это время, живя в Швейцарии и Германии, он исцеляется от слепоты и начинает видеть неизбежность социального кризиса на Западе. В книге «Одна из обителей царства теней» он предрекает европейской культуре ужасную катастрофу, объясняя этим свое решение вернуться из Германии в СССР: «...ритмы фокстротов, экзотика, дадаизм, тринтравизм и все прочие эстетико-философские явления отживающей культуры Европы лишь зори пожара обвала Европы, лишь шестел того, что в ближайших шагах выявит себя ревом животного. <...> было бы благодеянием для жизни Берлина, если бы в один прекрасный день здания вокруг обвалились бы, разрушился бы водопровод, электричество бы погасло, и жители поняли бы, наконец, что смерть наступила. <...> в самом воздухе города носится смерть; и порою хотелось воскликнуть: “Скорее, скорей бы!”. Казалось: пристойный вид города — внешнее выражение столбняка, переходящего в смерть без трагедии и в разложение без подвига <...> Под приличною старою формой Берлина стал чужаться мне дикий хаос действительного разложения и смерти; и в запахе тления я задыхался»⁹¹. Конечно, среди противников революции нашлись мыслители, которые в резко изменившейся исторической ситуации попытались отказаться от идеи «гибели Запада» и скорректировать свое отношение к западной культуре, но эти попытки явились скорее тактическими уступками, нежели сменой стратегии, и потому оказались мало продуктивными.

Чрезвычайно интересна в этой связи ранняя русская реакция на первый том труда О. Шпенглера «Untergang des Abenlandes» (1918; букв. «Закат Запада», а не «Закат Европы», как утвердилось в России), вышедший в русском переводе в 1923 году⁹². На русских просвещенных читателей, немедленно заметивших сходство концепции Шпенглера с тем, что писали о «гнилом Западе» Киреевский, Данилевский, Леонтьев и многие другие русские мыслители XIX века, «Закат Европы» произвел сильнейшее впечатление. К. Вагинов

⁹¹ Андрей Белый. «Одна из обителей царства теней». Берлин, 1924. С. 62–63, 67–68.

⁹² Обзор первых русских откликов на книгу Шпенглера см.: Тиме Г. А. Миф о «закате Европы» в мировоззренческой самоидентификации России начала 1920-х годов // Вопросы философии. 2002. № 6. С. 149–162.

в «Козлиной песни» иронизировал над петербургскими интеллигентами, которые, претерпевая реальную гибель собственной культуры, отождествляют себя с европейцами и, волнуясь, обсуждают миф о гибели культуры чужой:

«С некоторых пор, с опозданием на два года, в городе — я говорю о Петербурге, а не о Ленинграде — все заражены были шпенглеризмом.

Тонконогие юноши, птицеголовые барышни, только что расставшиеся с водянкой отцы семейств ходили по улицам и переулкам и говорили о гибели Запада.

Встречался какой-нибудь Иван Иванович с каким-нибудь Анатолием Леонидовичем, руки друг другу жали:

— А знаете, Запад-то гибнет, разложение-с. Фьюйтс культура — цивилизация наступает...

Вздыхали.

Устраивались собрания.

Страдали.

Поверил в гибель Запада и поэт Троицын.

Возвращаясь с неизвестным поэтом из гостей, икая от недавно появившейся сытной еды, жалостно шептал:

— Мы, западные люди, погибнем, погибнем.

Неизвестный поэт напевал:

О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес...

Говорил о К. Леонтьеве и хихикал над своим собратом. Ведь для неизвестного поэта что гибель? — ровным счетом плюнуть, все снова повторится, круговорот-с»⁹³.

В начале 1922 г. четыре русских философа — Н. Бердяев, Я. Букшпан, Ф. Степун и С. Франк — выпустили сборник статей о «Закате Европы», задуманный как «русский ответ» на эсхатологические пророчества Шпенглера⁹⁴. Соглашаясь с тем, что Запад «в каком-то смысле дряхлеет и умирает», все авторы сборника утверждали, что в его диагноз следует внести существенные коррективы. По их убеждению, гибнет не вся западная культура, а лишь одна ее составляющая, одно ее течение — позитивистская наука (Степун), рациональный дух «новой истории» (Франк), внешняя материальная цивилизация (Бердяев), «безрелигиозный, скептический самоутвер-

⁹³ Вагинов К. Козлиная песнь. Романы. М., 1991. С. 47.

⁹⁴ Сборник был недавно перепечатан как приложение к кн.: Бердяев Н. А. Смысл истории. Новое средневековье. М., 2002. С. 312–404.

жденный рационализм» (Букшпан), и уже само появление книги Шпенглера предвещает пробуждение подлинного — религиозного — культурного творчества. Все авторы единодушно отвергли органицистские аналогии, лежащие в основе шпенглеровской концепции, ибо, как писал Франк, «роковой, неизменный, предопределенный путь от младенчества, через зрелость, к старости и умиранию не есть судьба в духовном смысле слова; это — биологический закон природы, а не осмысленное, определенное внутренними духовными силами, драматическое единство жизни»⁹⁵.

В своих мемуарах Степун вспоминал, как из голодающей и разгромленной Москвы он мысленно возражал Шпенглеру: «Нет, <...> подлинная, то есть христианская гуманитарная культура Европы не погибнет, не погибнет уже потому, что, знаю, не погибнет та Россия, которая по словам Герцена, на властный призыв Петра к европеизации ответила гениальным явлением Пушкина. <...> Не верил я в неизбежную гибель Европы еще и потому, что ощущал историю не царством неизбежных законов, а миром свободы, греха и подвига. От нашей скифской реализации безбожно-рационалистического европейского социализма я ждал отрезвления Европы; от сопротивления русской церкви большевизму — оживления христианской совести Запада. Признаюсь, что минутами мне даже верилось, что после срыва большевизма в Европе начнется руководимое Россией духовное возрождение»⁹⁶.

Самим себе русские критики Шпенглера отводили роль привилегированных наблюдателей западной жизни, обладающих истинным ее знанием и потому способных открыть Западу тайну его исторической судьбы. «Мы находимся в более благоприятном положении, чем Шпенглер и люди Запада, — писал, например, Бердяев. — Для нас западная культура проницаема и постижима. Душа Европы не представляется нам далекой и непонятной душой. Мы с ней во внутреннем общении, мы чувствуем в себе ее энергию»⁹⁷. Поэтому, попадая на Запад, русские интеллигенты мыслили себя носителями спасительной религиозной идеи, посланниками, призванными передать европейским «братьям» обретенное в страданиях знание. «Европе, разочарованной, изверившейся, проеденной скепсисом старухе, мы принесли юношеский жар веры, — писал, например Сергей Горный, — <...> этой Европе, уже усталой, уже чуть-чуть блазированной

⁹⁵ Франк С. Кризис западной культуры // Бердяев Н. А., Букшпан Я. М., Степун Ф. А., Франк С. А. Освальд Шпенглер и закат Европы. М., 1922. Цит. по: Бердяев Н. А. Смысл истории. Новое средневековье. С. 350.

⁹⁶ Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. London, 1990. Т. II. С. 275–277.

⁹⁷ Бердяев Н. Предсмертные мысли Фауста // Бердяев Н. А., Букшпан Я. М., Степун Ф. А., Франк С. А. Освальд Шпенглер и закат Европы. Цит. по: Бердяев Н. А. Смысл истории. Новое средневековье. С. 381.

<...> мы вынесли свечечки из часовни: — большую свечу из Ясной Поляны и маленькую Алеши Карамазова или того мальчишка, “который плакал в темноте детскими слезинками и молил своего Боженьку”. Мы вынесли свою веру»⁹⁸. Ему вторил либеральный журналист Борис Мирский (Миркин-Гецевич): «...мы видим, что Россия нужна не только нам, что она нужна Европе, и что без нее царит смятение, чувствуется неустойчивость, какая-то вселенская тягость, в которой слышится мучительный неосознанный вздох оставшегося без России Запада»⁹⁹. Однако все надежды на диалог с западной мыслью оказались тщетными, ибо она либо игнорировала новоявленных учителей, либо — в левом, социалистическом варианте — сочувствовала большевикам, третируя эмигрантов как представителей старого режима. «Нас все равно никто не слушает <...> Европа не понимает России», — жаловался тот же Мирский. «Мы чувствуем себя среди европейцев, как Сократ среди своих соотечественников, у которых он хотел чему-нибудь научиться, пока не признал, что он мудрее всех, потому что он, ничего не зная, по крайней мере отдает себе отчет в своем неведении, тогда как все остальные, ничего не зная, не знают даже своей собственной духовной нищеты», — констатировал С. Франк в книге «Крушение кумиров» (1923), написанной вскоре после переезда в Германию¹⁰⁰.

Несовпадение ожиданий с реальностью приводит русских эмигрантов, к горькому разочарованию в современном Западе и к возобновлению эсхатологических пророчеств о его судьбе. Многие из них как бы повторили путь Герцена, быстро превратившись из защитников европейской культуры в ее пристрастных судей. Если в 1920 году М. Цетлин (Амари), оказавшись в Париже, еще мог сравнивать себя с Одиссеем, вернувшимся в родную Итаку:

Как Одиссей к Пенелопе,
Своей супруге любимой,
Так я возвратился к Европе,
Изгнания ветром гонимый,¹⁰¹

то лирический герой-изгнанник лучшего стихотворения Ю. Терапиано «По утрам читаю Гомера...» — это Одиссей в чужих краях, выброшенный на пустынный феакийский берег, где его, в отличие

⁹⁸ *Сергей Горный*. Пугачев или Петр? (Душа народа). Психологические этюды. Berlin, 1922. С. 80–81.

⁹⁹ *Мирский Б.* В изгнании: Публицистические очерки. Париж, 1922. С. 58.

¹⁰⁰ *Франк С.* Крушение кумиров // Русская идея в кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. М., 1994. Т. I. С. 156.

¹⁰¹ *Цетлин Мих. (Амари)*. Прозрачные тени. Образы. Париж; М., 1920. С. 61.

от мифологического прототипа, не ждет спасительница Навзикая («Полдень. Время остановилось. / Солнце жжет, волны бьются о берег. / Где теперь ты живешь, Навзикая? — / Мяч твой катится по траве»). Более того, герой Терапиано знает то, о чем не подозревают безмятежно гуляющие по Люксембургскому саду французы, которые «лишь по привычке»

...движутся, любят, верят,
Ждут чего-то, хотят утешенья
И не знают, что главное — было,
Что давно уж Архангел Божий
Над часами каменной башни
Опустился — и вылилась чаша
Прошлых, будущих и небывших
Слез, вражды, обид и страстей,
Дел жестоких и милосердных...¹⁰²

Иными словами, Терапиано убежден, что современный Запад, сам того не зная, уже вступил в предфинальную стадию апокалиптического сценария, когда «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма раздался громкий голос, говорящий: совершилось!» (Откр. 16, 17). О том же в 1932 году писал Борис Поплавский:

«Мы живем ныне уже не в истории, а в эсхатологии и даже самые грязные газеты это смутно понимают. Что же делать художникам, писателя, скульпторам, композиторам? Вывод прост: следует всеми силами будить, трясти и даже мучить Европу, чтобы она в эти последние годы перед бесповоротною гибелью очнулась вдруг...»¹⁰³

После нескольких лет жизни на Западе даже такие бывшие критики Шпенглера, как Н. Бердяев и С. Франк перенимают его прогноз скорого «заката Европы» и, пользуясь сходными метафорами, строят свои модели будущего мира после катастрофы (см. особенно книгу Бердяева «Новое Средневековье», в которой он применяет к современной ситуации триаду Иохима Флорского: «Рациональный день новой истории кончается, солнце его заходит, наступают сумерки, мы приближаемся к ночи»¹⁰⁴. За гибелью старого мира должен последовать переходный, «ночной» период, собственно «Новое сред-

¹⁰² Цит. по: Якорь. Антология русской зарубежной поэзии / Составили Г. В. Адамович, М. А. Кантор. СПб., 2005. С. 136–137.

¹⁰³ Поплавский Б. Среди сомнений и очевидностей // Утверждения: Орган объединения пореволюционных учений. 1932. № 3. С. 104.

¹⁰⁴ Бердяев Н. А. Смысл истории. Новое средневековье. С. 222–223.

невековье», который приведет к «новому дню», то есть к хилиастическому Царству Духа Святого).

Как и в романтическую эпоху за сто лет до этого, в 1920-е годы вера в скорый, неминуемый конец европейского мира охватывает людей разных политических взглядов и культурных установок. Так, именно приближающейся гибелью Запада оправдывает свое решение вернуться в СССР Андрей Белый; аналогичными аргументами пользуется сменовеховец А. В. Бобрищев-Пушкин, призывая эмигрантов к сотрудничеству с советской властью:

«...культура (не комфорт) Запада все более становится деревом, покрытым одними листьями, без плодов. История имеет свою логику: пока культура высших классов оправдывает их гнет над низшими, история терпит этот гнет. Но, по неумолимым социологическим законам, каждому крушению рабства предшествует упадок основанной на нем культуры, как будто для того, чтобы не о чем было жалеть, когда оно увлечет ее за собой в своем падении. Таков упадок Римской империи и Греции <...>. Таков закат Италии и Испании. Таков «конец века», как печально называли последнюю четверть XIX века. <...> А с тех пор? Одна техника, одно торжество материи <...>, но никаких достойных человечества культурных ценностей. <...> Когда [Революция] происшедшая в России, захватит Европу — сравнительно не так важно; важно, что она идет и придет, что только слепые не видят осыпающихся слоев старого социального строя, только глухие не слышат ее подземных раскатов. Вся почва колеблется — нигде уже нет покоя. А какая дана Европе отсрочка, десять, двадцать пять или больше лет, конечно, важно, для нас, смертных, но не для человечества»¹⁰⁵.

В 1922 году крайне чуткий к веяниям времени Илья Эренбург пишет имевший немалый успех футурологический роман «Трест Д. Е. История гибели Европы», в котором он, скрещивая марксистскую идею конца капитализма со шпенглеровской идеей конца западной «фаустианской культуры», рисует жуткую картину грядущего упадка и самоуничтожения европейских народов. Согласно Эренбургу, Европа обречена и, хотя ее уничтожением планомерно занимается американский трест и лично «великий авантюрист» с хамскими инициалами Е. Б. (Енс Боот), она, по сути дела, совершает «массовое самоубийство». В романе реализован целый комплекс ходячих представлений об апокалипсисе, ожидающем Европу — опустошитель-

¹⁰⁵ *Бобрищев-Пушкин А. В.* Новая вера // Смена вех. 2-е изд. Прага, 1922. С. 117, 148.

ные войны с применением всех видов оружия массового уничтожения, во время которых обыватели предаются гедонистическому «пир во время чумы», упадок нравов, массовое бесплодие, классовые битвы, вторжение «черных орд», символическая «сонная болезнь» мещанства, конец искусств и т. п.

Двигаясь ближе к центру по политическому спектру, мы обнаруживаем те же старые идеи у евразийца П. Савицкого:

«Поскольку [Европа] дошла до того исторического и идеологического предела, на котором находится ныне, с большим вероятием можно утверждать, что в какой-то срок будущего произойдет одно из двух: или культурная среда новой Европы погибнет и рассеется, как дым, в мучительно-трагических потрясениях, или та “критическая”, по терминологии сен-симонистов, эпоха, которая началась в Западной Европе с исходом средних веков, должна подойти к концу и смениться эпохой “органической”, “эпохой веры”»¹⁰⁶.

Великое падение смерча, который превратит европейские столицы в пустыню, предвещает обреченным парижанам либеральный эссеист Петр Иванов¹⁰⁷, а с крайне правого фланга ему вторит монархист и антисемит Н. В. Краинский:

«Уже кристаллизуется в толпы убийц и грабителей наэлектризованная демагогами подлая чернь и выползают из нор шайки бандитов, которые будут править пир во время чумы, чтобы и самим быть поглощенными в хаосе всеобщей гибели»¹⁰⁸.

Обвинения западной цивилизации в давно замеченных и неискоренимых грехах (индивидуализм, материализм, мещанство, безбожие и т. д.) вкупе с пророчествами о ее «бесповоротной гибели», стали общими местами не только эмигрантской публицистики, но и обыденного сознания. Это не преминул зафиксировать несносный наблюдатель умственной пошлости Саша Черный. В его стихотворении «Парижское житье» (1928) русские эмигранты в «ман-

¹⁰⁶ Савицкий П. Евразийство // Евразийский временник. Берлин. 1925. № 4. Цит. по: Русская идея в кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. Т. I. С. 228.

¹⁰⁷ «Поднимется смерч из бездны его [Парижа], и он упадет. И падение его будет великое» (Иванов П. La Dame de Paris // Современные записки. 1925. Кн. XXIV. С. 168).

¹⁰⁸ Краинский Н. В. Без будущего. Очерки психологии революции и эмиграции. Белград, 1931. С. 32.

сарде у самых небес» ведут обычный интеллигентский спор, «корявый, кривой, бесполезный», выкрикивая: «Европа — мешанка над бездной!»¹⁰⁹ Герой другой сатиры Саши Черного «Закат Европы» (1928), когда-то в России занимавшийся «Проблемою Пола», теперь становится «почти спецом» по означенному в названии текста бедствию:

Я сидел на балконе с Иваном Петровым.
Он меня допекал удручающим словом:
«Час за часом подходит к закату Европа, —
Это будет, пожалуй, почище потопа!
Люди скроются в норы, зароятся в Альпы,
Поснимают друг с друга косматые скальпы,
И, виляя хвостами, — последняя пара
Съест друг друга средь чадного дыма пожара...
Мир объелся культурой! Ни воли, ни силы.
Отстоять ли Европе свои Фермопилы?
Войны — голод — отчаянье — бунты — и тифы, —
А под занавес... с красными пиками скифы»...¹¹⁰

То, что С. Франк назвал «раздражением против всего зла современной европейской жизни», естественно, находило выражение и в эмигрантской поэзии. Хотя западная тема в ней по значимости уступает темам ностальгическим и собственно лирическим, «современная европейская жизнь» у поэтов-эмигрантов первой волны чаще изображается в негативном или апокалиптическом свете. Радоваться тому, как в Париже «афиши клеили и жарили каштаны», или поднимать тост за «полей Елисейских бензин, За розу в кабине рольс-ройса и масло парижских картин», как видно, мог лишь поэт, навсегда отторгнутый от западного быта и застрявший «в черном бархате советской ночи». Особо важную роль в формировании устойчивого негативного образа Запада сыграла книга В. Ходасевича «Европейская ночь»¹¹¹, которая наделяет западные мегалополисы, Берлин и Париж, примерно теми же свойствами «демонической каменной пустыни», что и Шпенглер, — безжизненностью, пошлостью, бесплодием, однообразием, «сухой», то есть не связанной с продолжением рода, сексуальной распущенностью, подавленностью человеческого «я», отсутствием смысла. Само заглавие книги (ср. также во втором стихотворении цикла «У моря»: «Под европейской ночью

¹⁰⁹ *Саша Черный*. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 2. Эмигрантский уезд: Стихотворения и поэмы 1917—1932. М., 1996. С. 151.

¹¹⁰ Там же. С. 152.

¹¹¹ Подробнее см. о ней: *Bethea D. Khodasevich: His Life and Art*. Princeton, New Jersey, 1983. P. 275–296;

черной / Заламывает руки он»), отвечающее на «советскую ночь» Манделъштама и отсылающее к эсхатологическому пророчеству Хомякова («Здесь [то есть на Западе] будет мрак глубок»), стало расхожей формулой в эмигрантском анти-западном дискурсе. Так, Ю. Терапиано, выразитель общих мест парижской литературной эмиграции, в рецензии на роман Луи Селина «Путешествие в глубь ночи» писал: «Эта ночь на Западе *пока* — без исхода. Как на двери ада, над западным человечеством надпись: “оставь надежду”; и эту надпись нечем стереть»¹¹². Вспоминая в мемуарной книге «Поля Елисейские» предвоенный Париж, Василий Яновский прямо использует формулу Ходасевича: «...тени близкой европейской ночи уже покрывали наш старый эмигрантский мир»¹¹³.

Из поэтов, развивавших европейскую тему в апокалиптическом ключе, следует упомянуть прежде всего двоих — Бориса Поплавского и Антонина Ладинского. Первый из них, как мы помним, верил, что современный мир существует не в истории, а в эсхатологии, и записывал в дневнике: «Темы: смерть Европы — под шум пропеллеров своих полярных экспедиций, под пение тысячи граммофонов, под прекрасные и идиотские улыбки своих королей красоты»¹¹⁴. Конец мира в стихах Поплавского чаще всего ассоциируется с кораблекрушениями¹¹⁵. Фантазмагорические образы проваливающихся в полярную бездну кораблей, восходящие к прозе Эдгара По («Рукопись, найденная в бутылке», «Низвержение в Мальстрем», «История Артура Гордона Пима из Нантакета»), Поплавский соединяет с аллюзиями на реальные, но окруженные легендами катастрофы первых десятилетий XX века — на гибель полярных экспедиций и, особенно, на трагедию «Титаника», которая была понята современниками символически, как предвестье грядущих исторических катаклизмов¹¹⁶.

¹¹² Числа. 1934. № 10. С. 211. Цит. по: Терапиано Ю. Встречи. 1926–1971. М., 2002. С. 187.

¹¹³ Яновский В. Сочинения: В 2 т. Т. 2. По ту сторону времени. Поля Елисейские: Книга памяти. М., 2000. С. 358.

¹¹⁴ Цит. по примечаниям С. А. Ивановой к кн.: Поплавский Б. Сочинения. СПб., 1999. С. 370.

¹¹⁵ Полезные замечания об апокалиптических смыслах морской топики у Поплавского и других поэтов русской эмиграции см.: Хазан Владимир. «Моя Атлантида — Россия»: (К некоторым чертам «морского» мифа в поэзии русской эмиграции) // From the Other Shore. Russian Writers Abroad: Past and Present. Vol. 2. 2002. P. 17–19.

¹¹⁶ Ср.: «“Титаник” не имеет отношения к последующей длинной веренице постигших человечество разочарований, но его гибель стала как бы первым толчком надвигающегося землетрясения. До “Титаника”, казалось, была лишь тишь да гладь, после него — сплошной хаос. Вот почему для многих, кто жил в те времена, трагедия “Титаника” в большей степени, чем любое другое событие, явилась конечной вехой старого доброго времени

Приведу лишь несколько примеров из сборника «Флаги»:

И прожектор ложится на плоскую воду
И еще полминуты горит под водой.
Металлический дом, точно колокол духов,
Опускается тихо звонит в синеве

И айсберг проплывает над местом крушенья
Как Венера Милосская в белом трико.¹¹⁷

(«Отрицательный полюс молчит и сияет...»)

И было все на малой глубине,
Куда еще доходит яркий свет.
Вот тонем мы, вот мы стоим на дне.
Нам медный граммофон поет привет.¹¹⁸

(«Paysage d'enfer»)

Мыс Доброй Надежды. Мы с доброй надеждой тебя покидали,
Но море чернело, и красный закат холодов
Стоял над кормою, где пассажиры рыдали,
И призрак Титаника нас провожал среди льдов.

<...>

Мы погибли в таинственных южных морях,
Волны хлестали, смывая шезлонги и лодки.

и началом новой, беспокойной эпохи» (*Лорд Уолтер*. Последняя ночь «Титаника». Л., 1984. С. 117). В эмигрантском эсхатологическом дискурсе образ «Титаника» первым использовал Д. Мережковский, писавший в 1929 г.: «В самом начале XX века океанский пароход, Титаник, на котором совершали увеселительную прогулку в Европу американские миллиардеры с семьями, столкнувшись ночью, в тумане, с огромною плавучею льдиною, пошел ко дну так внезапно, что почти никто не спасся.

Гибель Титаника — заглавная картинка к новой главе всемирной истории — первой великой войне, а может быть, и ко второй, последней; третьей ей не будет, или будет уже в истории не нашего человечества. <...>

Только что наш европейский Титаник столкнулся ночью, в тумане, с плавучею льдиною, чудом спасся, полуразбитый, — поплыл дальше, и вот, опять — ночь, туман; опять белеет в нем что-то огромное; льдистым холодом веет в лицо, — вторая льдина, и мы прямо идем на нее. Что же рулевой, — уснул, ослеп, или вместо него правит кто-то другой, Неведомый?» (*Мережковский Д.* Тайна Запада: Атлантида — Европа. Белград, 1930. С. 10).

¹¹⁷ Поплавский Б. Сочинения. С. 43.

¹¹⁸ Там же. С. 45.

Мы целовались, корабль опускался во мрак.
В трюме кричал арестант, сотрясая колодки...
(«Рукопись, найденная в бутылке»¹¹⁹)

Горы волны ходят в океане.
С островов гудят сирены грозно.
И большой корабль, затертый льдами,
Накрываясь, лежит под флагом звездным.

Там в каюте граммофон играет.
И друзья танцуют в полумраке.
Путаясь в ногах, собаки лают.
К кораблю летит скелет во фраке.

У него в руке луна и роза,
А в другой письмо, где желтый локон.
Сквозь узоры звездного мороза
Ангелы за ним следят из окон.

Никому, войдя, мешать не станет.
Вежливо рукой танцоров тронет,
А когда ночное солнце встанет
Лед растает и корабль утонет.¹²⁰

(«Черный заяц»)

Если в этих стихотворениях поэт не отделяет себя от тонущего мира-корабля, то в стихотворении «Жалость к Европе» он занимает позицию стороннего наблюдателя гибели западной цивилизации:

Европа, Европа, как медленно в трауре юном
Огромные флаги твои развеваются в воздухе лунном.

<...>

Высокие здания яркие флаги подняли.
Удастся ли опыт? На башне мечтают часы.
А в море закатном огромными летними днями
Уходит корабль в конце дымовой полосы.

<...>

¹¹⁹ Там же. С. 60. Название стихотворения повторяет название рассказа Эдгара По; отметим также, что в повести По «История Артура Гордона Пима из Нантакета» корабль героя попадает в жуткий шторм именно у мыса Доброй Надежды.

¹²⁰ Там же. С. 71.

Европа, Европа, сады твои полны народу.
Читает газету Офелия в белом такси.
А Гамлет в трамвае мечтает уйти на свободу
Упав под колеса с улыбкою смертной тоски.

А солнце огромное клонится в желтом тумане,
Далеко, далеко в предместиях газ запылал.
Европа, Европа корабль утопал в океане,
А в зале оркестр молитву на трубах играл.

И все вспоминали трамваи, деревья и осень.
И все опускались грустя в голубую пучину.
Вам страшно, скажите? Мне страшно ль? Не очень!
Ведь я европеец! смеялся во фраке мужчина.

Ведь я англичанин, мне льды по газетам знакомы.
Привык подчиняться, проигрывать с гордым челом,
А в Лондоне нежные леди приходят к знакомым.
И розы в магазинах вянут за толстым стеклом.¹²¹

Отплывающий вдаль, а затем утопающий в океане корабль европейской цивилизации — это, безусловно, «Титаник», столкнувшийся с айсбергом, на что указывает стих об оркестре, играющем молитву, ибо, согласно широко распространенной легенде, ресторанный оркестр на погружающемся в воду «Титанике» играл церковный гимн «Ближе к тебе, о Господи»¹²². На морскую символику накладывается традиционная эсхатологическая топика гаснущего закатного солнца, что, вероятно, мотивировано немецким заглавием книги Шпенглера «*Untergang des Abenlandes*» (где *Untergang* имеет два значения: закат и кораблекрушение); трагическую обреченность современного европейца подчеркивают аналогии с вековыми прототипами «Гамлета»; трубы оркестра напоминают о трубах библейских книг пророков и «Откровения Св. Иоанна» (ср. особенно пророчество, связанное с морем и кораблями: «Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла...» — Откр. 8, 8).

Подобно Поповавскому, А. Ладинский тоже начинает свой цикл из четырех стихотворений, открывающий книгу «Стихи о Европе» (1937) и озаглавленный «Похищение Европы»¹²³, с апострофы, уста-

¹²¹ Там же. С. 82–83.

¹²² *Лорд Волтер*. Последняя ночь «Титаника». С. 177.

¹²³ Подробнее об этом цикле см.: Долинин А. Тема заката Европы в поэзии русской эмиграции // *Russian Literature and the West: A Tribute for David*

навливающей некую дистанцию между русским поэтом и гибнущим западным миром, с которым он прощается:

Европа, ты зябким и сирым
Летишь голубком, но — куда?
С непрочным и призрачным миром
Прощаешься ты навсегда.

На фоне большого заката
Уходит корабль в океан.
Вот за воркованье расплата,
За музыку и за туман!

Ты руки ломаешь от горя,
Но бык увлекает тебя
В пределы печального моря,
О легкой победе трубя...¹²⁴

Обращает на себя внимание явная переключка некоторых мотивов с «Жалостью к Европе». Вслед за Поплавским Ладинский сравнивает современный Запад с кораблем, уходящим в море на фоне заката; появляется у него и мотив трубного гласа; даже рифма «океан/туман» повторяет — с заменой родительного падежа на именительный — рифму Поплавского. Однако, отталкиваясь от «Жалости к Европе», Ладинский не только транспонирует банальную тему в иной — элегической — тональности, но и лишает ее публицистической однозначности. Уже начальное сравнение Европы с улетающим голубком может быть понято двояко. Если вспомнить, что в христианской иконографии голубь — это традиционный символ Святого Духа и бессмертной человеческой души, покидающей тело человека после смерти, то образ прочитывается как намек на духовное опустошение Запада и смерть его «культурного тела» (ср. в стихотворении «Весеннюю порою льда...» (1931) Пастернака: «В краях заката стаял лед, / И по воде, оттаяв, / Гнездом сполоснутым плывет / Усадьба без хозяев. / Прощальных слез не осуша / И плакав вечер целый, / Уходит с Запада душа / Ей нечего там делать»)¹²⁵. Но, с другой стороны, соседство морского мотива актуализирует и другую ассоциацию — с голубем-благоветителем, который принес на Ноев ковчег «свежий масличный лист», возвестивший, что «вода сошла с земли» (Быт. 8, 8–12) и, следовательно, прерванная катастрофой

Betha (Stanford Slavic Studies, vol. 36) / Edited by Alexander Dolinin, Lazar Fleishman, Leonid Livak. Stanford, 2008. Part II. P. 44–62.

¹²⁴ Ладинский Ант. Стихи о Европе. Париж, 1937. С. 7.

¹²⁵ Пастернак Б. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 1912–1931. М., 1989. С. 423.

земная жизнь возобновляется. Любопытно, что в процитированном стихотворении Пастернака прямо упоминается предание о всемирном потопе: оставившая Запад душа «...уходит в перегной / Потопа, как при Ное, / И ей не боязно одной / Бездонною весною», что сулит не гибель, а перемещение и «преображенье света» — *translatio spiriti*.

Уверившись в неотвратимой катастрофе европейского «Титаника», многие эмигранты, как некогда Герцен, связывают надежды на обновление и спасение не с Западом, а с Россией — причем не с реальной, сегодняшней, тиранической, а с идеальной Россией будущего. Тем самым в своей критике Запада они сходятся с коммунистической пропагандой, хотя последняя заменяет религиозно окрашенную историософскую эсхатологию на эсхатологию марксистскую, псевдонаучную. С марксистской точки зрения речь может идти лишь о гибели общественно-экономической формации — капитализма и эксплуататорских классов с их культурой, но не целостной социокультурной общности. Именно поэтому коммунистические публицисты подвергли резкой критике как «Закат Европы» Шпенглера, так и «русский ответ» ему Бердяева, Букшпана, Степуна и Франка. «Вопрос о закате Европы является вопросом о закате буржуазно-капиталистического Запада, — писал, например, Карл Грасис. — Осознав разложение этого Запада, не поняв причин такого разложения и не видя сил, могущих проявить новую творческую энергию, философствующие филистеры этого уходящего мира свои зубные боли превращают в мировую скорбь, что, впрочем, бывало неоднократно»¹²⁶.

Однако, как давно показал Н. Бердяев, русский коммунизм после захвата власти большевиками быстро приобретает черты квазирелигиозного мессианизма:

«Произошло удивительное превращение. Марксизм, столь не русского происхождения и не русского характера, приобретает русский стиль, стиль восточный, почти приближающийся к славянофильству. <...> И русский коммунизм вновь провозглашает старую идею славянофилов и Достоевского — “*ex Oriente lux*”. Из Москвы, из Кремля исходит свет, который должен просветить буржуазную тьму Запада»¹²⁷.

Соответственно, идея общего кризиса капитализма начинает сливаться с идеей гибели Запада, а пропагандистский дискурс вбирает в себя старые славянофильские клише. На протяжении почти целого столетия коммунистические идеологи все снова и снова заявляют, что — процитируем программу КПСС 1961 года — «империализм вступил в период заката и гибели», и — вспомним знаменитую угро-

¹²⁶ Грасис К. Вехисты о Шпенглере // Красная новь. 1922. № 2. С. 210.

¹²⁷ Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 116.

зу Хрущева — мы его скоро похороним; что капиталистический строй гниет (заживо)/сгнил/загнивает/разлагается; что буржуазная культура деградирует/вырождается/погружается в маразм/падает в пропасть бездуховности и т. п. Сам товарищ Сталин в 1918 году переадресовал выражение «С Востока свет!» революционной России, озаглавив им свою газетную заметку и повторив в финале: «С Востока свет! Запад с его империалистическими людоедами превратился в очаг тьмы и рабства. Задача состоит в том, чтобы разбить этот очаг на радость и утешение трудящихся всех стран»¹²⁸. После этого формулу приписали вождю¹²⁹ и начали всячески цитировать и перифразировать. Украинский поэт И. Нехода грозил империалистам: «Берегитесь, грязные убийцы! / Отступает ночь перед зарей. / Из Москвы, с Востока свет струится — / Солнце мира всходит над землей»¹³⁰, а в казенной прозе ему вторил М. А. Шолохов:

«Мраком обреченности окутан доживающий свой век капиталистический Запад. Но для трудового человечества всех стран ярким светом надежды полыхает занявшаяся на Востоке заря свободы и счастья. Свет победит мрак»¹³¹.

Воскрешена была и метафора «дряхлый Запад». «Старость не скроешь под грубо наложенными румянами. Сумерки капитализма не смешаешь с зарей»¹³², — писал, например, небезызвестный Д. И. Заславский. В том же духе и на том же корявом языке, мешая марксистскую и славянофильскую топику, изъясняются — как прекрасно знают телезрители и читатели сетевых журналов — и сегодняшние предсказатели скорой и ужасной гибели Запада, с той лишь разницей, что сейчас чаще имеют в виду США, нежели Европу.

Тот факт, что на протяжении без малого двух веков фундаменталистская русская мысль, — вне зависимости от конкретной исторической ситуации, изменений культурного контекста и политических программ, — воспроизводит в прозе и стихах одни и те же профетические формулы, один и тот же набор банальных органицистских аналогий и эсхатологических метафор, показывает, что иррацио-

¹²⁸ *Сталин И. В.* Сочинения. Т. 4: Ноябрь 1917–1920. М., 1947. С. 182.

¹²⁹ В романе лауреата Сталинской премии В. И. Ильенкова «Большая дорога» герой задумывает книгу «С Востока свет!» и объясняет матери, восторженной красотой названия: «Это не мои слова. Так называлась статья товарища Сталина!» (Октябрь. 1949. № 3. С. 49).

¹³⁰ Цит. по: *Красных И. Н.* Русский язык: учебник для 6 класса школ глухонемых. М., 1951. С. 158.

¹³¹ *Шолохов М. А.* Собрание сочинений: В 8 т. М., 1956–1960. Т. 8. С. 238.

¹³² *Заславский Д. И.* День за днем. Свои и чужие. М., 1960. С. 83.

нальное убеждение в смертельных болезнях могущественного и успешного Другого необходимо для оправдания собственных проигрывающих политико-экономических стратегий, патологической ксенофобии и ничем не оправданных претензий на превосходство. Без этого убеждения, как писал Владимир Соловьев в работе «Национальный вопрос в России», идея *особого* русского пути, *особого* русского предназначения, теряет всякий смысл:

«Ибо если Запад не подлежит неизбежному разложению, если европейские народы еще не сказали своего последнего слова, еще продолжают свою историческую работу, то на каком основании мы должны непременно отделяться от них и противопоставлять себя всей Европе, вместо того чтобы почувствовать себя одним из европейских народов? Если западная цивилизация не закончила своего развития *и мы не знаем ее результатов и целей*, то на каком основании будем мы отнимать у нее общечеловеческий характер?»¹³³

Уже на ранних стадиях разработки концепта «гибель Запада» его критики указали, что он зиждется на очень шатких основаниях и не поддается рациональной верификации. Во-первых, большие сомнения вызвало само противопоставление России Западу и отождествление ее с Востоком. Именно за это, например, Белинский разбил «Мечту» Хомякова:

«...мы так горды чувством национального достоинства, что под Востоком не можем разуть Россию. Ведь Запад — Европа, а Восток — Азия? Россия же принадлежит к Европе и по своему географическому положению, и потому, что она держава христианская, и потому, что новая ее гражданственность — европейская, и потому, что ее история уже слилась неразрывно с судьбами Европы. Кажется, так, г. поэт? Кого же вы будите? Каких вранов призываете вы на мнимый труп Запада торжествовать мнимую гибель цивилизации, смерть света и праздник тьмы? — Верно, турков и татар? — Ну, турки и татары, просыпайтесь на голос вашего прорицателя: по его уверению, Запад не нынче, завтра скончается, и наступит ваш черед, потомки Чингисханов и Тамерланов!...»¹³⁴

Полемизируя с теорией культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского, Владимир Соловьев тоже определит Россию как часть Европы:

¹³³ Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. Т. 1: Философская публицистика. М., 1989. С. 312.

¹³⁴ Белинский В. Г. Собрание сочинений. Т. 7. С. 202.

«...особый, внеевропейский русско-славянский культурный тип, со своею особенною наукой, философией, литературой и искусством, есть лишь предмет произвольных чайний и гаданий, ибо никаких положительных задатков новой самобытной культуры наша действительность не представляет. <...> Как русская изящная литература, при всей своей оригинальности, есть одна из европейских литератур, так и сама Россия, при всех своих особенностях, есть одна из европейских наций»¹³⁵.

Во-вторых, оппоненты могильщиков Европы постоянно указывали на опасность прямолинейных эсхатологических интерпретаций конкретных фактов и явлений, поскольку историческое будущее в принципе непредсказуемо. Так, А. В. Никитенко, прочитав первые номера «Москвитянина», записал в дневнике:

«Чудаки эти москвичи (даже Шевырев). Ругают Запад на чем свет стоит. Запад умирает, уже умер и гниет. В России только и можно жить и учиться чему-нибудь. Это страна благополучия и великих убеждений. Если это искренно, то москвичи самые отчаянные систематики. Они отнимают у Бога тайны его предначертаний и решают по-своему жизнь и упадок царств»¹³⁶.

Как полагал Владимир Соловьев, даже правильно названные и описанные симптомы социальных и духовных недугов Запада отнюдь не обязательно предвещают его смерть. «Те признаки исторической смерти и наступающего разложения, которые указываются славянофилами в западной цивилизации, — пишет он, — никак не принадлежат католической культуре», — культуре, которая, по Соловьеву являет собой «внутреннюю силу или душу западной жизни»:

«...если эта душа не совсем оставила свое тело, а только утратила полноту своего действия в нем, то, значит, современное состояние Европы не есть общее посмертное разложение, а только частный болезненный процесс. Этот болезненный процесс может окончиться смертью, если действие жизненного начала ослабеет еще более и совсем исчезнет, но он может окончиться и выздоровлением, если недостаточно сильное действие жизненного начала будет восполне-

¹³⁵ Соловьев В. С. Сочинения. Т. 1. С. 352.

¹³⁶ Никитенко А. В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 234 (запись от 28 июля 1841 г.).

но и усилено со стороны нашего славянского мира, то в этом, конечно, и состоит наше настоящее призвание»¹³⁷.

Наконец, сам пророческий характер формулы «гибель Запада» требовал ее верификации, ибо даже с точки зрения религиозного сознания решающим признаком истинности пророчества является его исполнение. Как объясняется в Ветхом Завете, «если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей» (Второз. 18, 22). Нетрудно заметить, что ни одно слово русских пророков до сих пор не исполнилось, а предложенные ими сценарии гибели Европы и возвышения России неизменно опровергались ходом мировой и русской истории. Когда Россия была побеждена в Крымской войне, А. В. Никитенко воспринял это постыдное поражение как опровержение пророчеств: «Лет пять тому назад москвичи провозгласили, что Европа гниет, что она уже сгнила, а бодрствуют, живут и процветают одни славяне. А вот теперь Европа доказывает нашему невежеству, нашей апатии, нашему высокомерному презрению ее цивилизации, как она сгнила. О, горе нам!»¹³⁸ Почти восемьдесят лет спустя так же реагировал на антизападную риторику парижского журнала «Утверждения» либеральный историк и публицист А. Кизеветтер:

«Присмотримся поближе к тезисам “Утверждений”. Тлетворный Запад гниет, если уже не сгнил, а Россия теперь, как никогда прежде, придвинулась к моменту свершения предопределенной ей Провидением всемирно-исторической миссии. “Утверждения” о гниении Запада имеют у нас за собою по крайней мере 80-летнюю давность и выдавать их за революционную новость более чем неосторожно. Невольно думаешь: что-то уж очень долго гниет этот Запад и все сгнить не может, да еще за время своего гниения ухитряется обнаруживать замечательные творческие процессы в многообразных областях культуры. Но нам говорят: теперь-то уж Запад несомненно погиб. Почему же, однако? Потому ли, что после войны в западно-европейских странах идет сильное брожение политическое и социальное? Но было бы чудом, если бы после такой встряски, как мировая война, народы спокойно облеклись в халаты и легли спать. Но надо еще доказать, что эти брожения знаменуют гибель Европы, а не несут в себе зародыши ее творческого обновления. Во всяком случае тлетворный Запад сумел-таки отразить коммунистические атаки,

¹³⁷ Соловьев В. С. Сочинения. Т. 1. С. 318.

¹³⁸ Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 419 (запись от 6 октября 1855 г.).

которые после войны были предприняты в ряде европейских стран. Я не думаю, чтобы это свидетельствовало, что западно-европейский строй насквозь прогнил»¹³⁹.

Однако на могильщиков Запада аргументы подобного рода не действуют. Ход исторических событий может заставить их усомниться в точности конкретных оценок и предсказаний, но никогда — в общей истинности. Тот факт, что пророчества о гибели Запада не сбываются, нисколько не влияет на их восприятие и восприимчивость: конечные сроки лишь откладываются на будущее, передвигаются все дальше и дальше во времени. Так, например, ровно через пятьдесят лет после смерти Достоевского православный священник из Сербии пишет: «Пророчество Достоевского о Европе постепенно исполняется на наших глазах. Европейское человечество, ведомое духом гуманистической, тщеславной “непогрешимости”, катится стремглав из тьмы в тьму, из ночи в ночь, пока не ввергнется в мрачную, вечную ночь, после которой не наступит зря»¹⁴⁰. Проходит еще три четверти века, и какие-то интернетные мудрецы с тем же апломбом сообщают ровно то же самое: «Пророчества Достоевского сбываются», или «продолжают сбываться в наши дни».¹⁴¹ Ясно, что под видом социологического анализа, футурологических прогнозов и исторических концепций нам предлагаются «пустые фразы» заклинательно-магического типа, призванные навлечь гибель на недосягаемое «чужое» (в буквальном смысле *wishful thinking*), — формулы, которые не имеют никакой познавательной ценности в том, что касается понимания Другого, а выполняют скорее психотерапевтическую функцию, действуя на возбужденное сознание как некий вербальный транквилизатор.

Подобное отношение к несбывшимся пророчествам хорошо известно социологам, изучавшим его на примере поведения членов эсхатологических сект. Классическое исследование такого рода провел в 1950-е годы Леон Фестингер, автор теории когнитивного диссонанса. Его заинтересовала немногочисленная, но весьма активная секта, харизматический лидер которой, домохозяйка из Чикаго, убедила своих последователей в том, что находится в контакте с обитателями некоей планеты Кларион. Инопланетяне сообщили ей, что 21 декабря 1954 года должен произойти конец света, от которого спасутся (на специально присланной за ними летающей тарелке)

¹³⁹ Руль. 1931. 5 мая.

¹⁴⁰ *Преподобный Иустин (Попович)*. Достоевский о Европе и славянстве / Пер. с сербского. М.; СПб., 2002. С. 210–211.

¹⁴¹ См., например: <http://2000.net.ua/2000/svoboda-slova/8989>; <http://www.politforums.ru/politclub/1280238967.html>; <http://www.russkiymir.ru/forum/posts/list/17001.page>.

лишь истинные верующие. Члены секты, поверив своему лидеру, стали готовиться к гибели мира и эвакуации на Кларион: распродали имущество, ушли с работы и учебы, попрощались с родными и близким, и собрались в назначенном месте. Внедренные в секту под видом неофитов, социологи подробно описали реакцию сектантов на неосуществление пророчества и возникший вследствие этого когнитивный диссонанс. Вместо того чтобы отказаться от своей веры, члены секты после некоторых размышлений пришли к выводу, что ранее они неверно интерпретировали полученные сообщения, которые носили не столько конкретный, сколько символический характер, что пророчество так или иначе сбудется в недалеком будущем, и что их главная задача — заняться прозелитизмом, дабы увеличить число верующих (и тем самым подтвердить истинность самого вероучения)¹⁴².

Описанный Фестингером и его коллегами механизм «переподтверждения» неосуществившихся пророчеств, как заметил известный английский литературовед Фрэнк Кермод, характерен для всех разновидностей наивного апокалиптического сознания, которому рано или поздно приходится решать проблему напрасных ожиданий:

«Большинство интерпретаций Апокалипсиса предполагают, что Конец наступит очень скоро. Соответственно, историческую аллерию постоянно приходится ревизовать, ибо время ее дискредитирует. И это очень важно. Сам же Апокалипсис может не подтверждаться, но при этом не быть дискредитированным. В этом разгадка его необычайной живучести»¹⁴³.

Точно так же демонстрирует необычайную живучесть и формула «гибель Запада» — она каждый раз не подтверждается, но при этом — для верящих в нее — никогда не дискредитируется.

POSTSCRIPTUM: Пояснения к эпиграфу

Внесенную в эпиграф запись Пушкин сделал в январе или феврале 1836 года, набрасывая начало рецензии на недавно вышедшую книгу С. П. Шевырева «История поэзии». Французскую фразу «Nous sommes les grands joueurs» обычно переводят «Мы — великие судьбы», из-за чего все высказывание воспринимается как оправда-

¹⁴² См.: *Festinger L., Riecken H. W., and Schachter S. When Prophecy Fails. A Social and Psychological Study of a Modern Group that Predicted the Destruction of the World.* New York, 1956.

¹⁴³ *Kermode F. The Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction.* London; Oxford; New York: Oxford University Press, 1968. P. 8.

ние русской критики Запада, напоминающее слова Достоевского: «Я убежден, что судьей Европы будет Россия»¹⁴⁴. Подобным образом недавно истолковала Пушкина И. Сурат. По ее мнению, Пушкин хотел сказать, что возможность и право судить Европу нам, русским, обеспечил «наш особый, отдельный от Европы, но неразрывно связанный с нею путь; наша венаходимость и жертвенность по отношению к Европе, таинственно предуказанные нам Провидением, делают нас “великими судьями”, определяют те самые “беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас”»¹⁴⁵.

На самом деле, во французском языке пушкинского времени *jugeur* отнюдь не значило «судья». Как указывают толковые словари 1810–1830-х годов, тогда это был разговорный пейоратив со значением «тот, кто имеет наглость судить обо всем; кто судит о каком-либо предмете необдуманно, ничего в нем не смысла»¹⁴⁶. Уже с конца XVIII века данное существительное довольно часто встречается в литературе. Так, его дважды использовал Бомарше в предисловии к «Женитьбе Фигаро»¹⁴⁷, а Виктор Гюго — в предисловии к «Марии Тюдор»¹⁴⁸ и в статье «Случайные идеи» («Idées au hazard», 1824)¹⁴⁹. Бальзак в «Шагреновой коже» (1831) вводит модное словцо как коллоквиализм, выделяя курсивом и поясняя: «...из тех, кто ничему не удивляется, кто сморкается во время каватины в Итальянской опере, первым кричит браво, возражает всякому, высказавшему свое суждение прежде него...». Во время ужина бальзаковский *jugeur* называет новую повесть Шарля Нодье «набором фраз, высосанных из пальца, сочинением для сумасшедшего дома», а потом признается, что никогда ее «не читал и даже не видал»¹⁵⁰. Ближайшим русским аналогом *jugeur* тогда, наверное, будет «критикан» (хотя это слово вошло в обиход лишь в 1840-е годы), а правильным переводом французской фразы: «Мы большие критиканы» или, перифрастически, «Мы большие мастера судить о том, чего не знаем». Ясно, что Пуш-

¹⁴⁴ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 24. С. 147.

¹⁴⁵ Сурат И. Вчерашнее солнце: О Пушкине и пушкинистах. М., 2009. С. 112.

¹⁴⁶ Dictionnaire de l'Académie française. Supplément. Première partie. A — K. Paris, 1831. P. 73. Ср. также: Dictionnaire classique de la langue française. Paris, 1827. P.553; *Ryamond François*. Dictionnaire des termes appropriés aux arts et aux sciences, et des mots nouveaux que l'usage a consacrés ...Paris, 1824. P. 308.

¹⁴⁷ Oeuvres complètes de Beaumarchais, précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages. Nouvelle édition. Paris, 1828. Т. II. P. 4, 22.

¹⁴⁸ *Hugo Victor*. Marie Tudor. Angelo. Paris, 1836. P. 8.

¹⁴⁹ Oeuvres de Victor Hugo. Т. I. P. 589.

¹⁵⁰ Бальзак О. Собрание сочинений: В 15 т. М., 1955. Т. 13. С. 44, 54.

кин иронизирует над «удивительными» суждениями отечественных «знатоков» Запада «касательно того, что делается не у нас».

К сожалению, нам неизвестно, каких именно *jugeurs* имел в виду Пушкин. Не лишено вероятия, однако, что одним из объектов пушкинской иронии могла быть главная трибуна нарождающегося славянофильства — журнал «Московский наблюдатель», начавший выходить весной 1835 года. В первом же номере журнала были напечатаны упомянутые выше «Мечта» Хомякова и статья С. П. Шевырева «Словесность и торговля». Без противопоставления европейской «ветхой опытности» и русской «молодой свежести» Шевырев не обошелся даже в своей «Истории поэзии». «Плоды Европейского образования может соединить в себе разумным избранием только страна свежая, молодая, сильная, такая страна, которая мало участвовала в жизни Европейской и следовательно не вынесла с собою никаких пристрастий, не приняла никакого одностороннего направления»¹⁵¹, — писал он в финале вступительного очерка. Возможно, притязания «москвичей» на роль судей Западной Европы показались Пушкину пошлыми и смешными.

¹⁵¹ Шевырев С. П. История поэзии. Т. I. М., 1835. С. 35.